

**М у х т а р**  
**А У Э З О В**

**ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ**

## **Оглавление**

Глава 1 .....	3
Глава 2 .....	15
Глава 3 .....	33
Глава 4 .....	52
Глава 5 .....	74
Глава 6 .....	88
Глава 7 .....	99
Глава 8 .....	124
Глава 9 .....	142

## Глава 1

Старший брат поднял на руки младшего, точно ребенка, и сказал своей жене, торопливо перестилавшей постель:

- А в нем ни кости, ни мяса. Сухой да легкий, как перекасти-поле... Экого молодца извели!

Постель - сложенные втрое-вчетверо стеганные одеяла на земляном полу под серой глинобитной стеной зимовья. Больного бережно уложили на правый бок.

А тот совсем обессилел, пока его поднимали, дышал тяжело и едва шевелил бескровными губами. Брат и сноха склонились к его лицу, но скорее догадались, чем расслышали, что он сказал:

- Отощавший конь - как по ветру пух...

- Отощавший муж - как бесплотный дух, -договорила женщина, горестно вздыхая.

Старшего брата звали Бахтыгулом, младшего -Тектыгулом, женщину - Хатшой.

Бахтыгул, черноусый, плечистый и широкогрудый, сел возле больного, низко опустив голову. Еще прошлой осенью Тектыгул удивлял людей своей богатырской

статью. Он был на голову выше, кряжистей и крепче старшего брата. И вот доконал его злой недуг. Истекла из парня сила, как кровь из широкой раны.

Прежде голая скала была ему мягка, теперь постель жестка. Придирчив стал, просит перестилать почаще; и поднять его на руки - ничего не стоит. А бывало, не оторвешь от земли!

Помнится, в юности, в страшную годину, пришлось Бахтыгулу, как ныне, носить брата на себе. Было тогда старшему шестнадцать, меньшому - десять. Повальный тиф, словно пожар, поджег степь, все аулы окрест. В один день слегли отец и мать, а затем в один день и померли, утром - мать, к ночи - отец. Братья побежали из родного аула куда глаза глядят, как велел, помирая, отец, и, когда у младшего подкашивались ноги, старший из последних сил тащил его на закорках, чтобы подальше уйти. Тогда Бахтыгул унес брата от гибели, от заразной хвори, которая гналась за ними. А ныне, пожалуй, не унести...

Тоска томила Тектыгула, но не молодецкая, смертная.

- На срубленном кусту не зеленеть листу,  
- твердил он, глядя застывшими, мутными, пугающими глазами то на брата, то на сноху.

- Это все бедность проклятая, наше сиротство. Не люди меня убили, брат, - бедность! Как будешь жить без меня?

Судорога морщила его серые губы, и словно прорывалось сокровенное, затаенное в душе.

- О, если бы поквитаться... не за смерть, за обиду...

- шептал он и всхлипывал яростно и беспомощно. Кашлял натужно, точно дряхлый старец, отвернув лицо к стене.

Сегодня Хатша не выдержала, вскрикнула со слезами:

- Подлые! Отсохни у них руки и ноги! Ломали, ломали парня... изломали вконец... И хоть быдохлым козленком откупились. Кинули бы милостыню... болящему на пропитание...

Бахтыгул был скуп на слова.

- Милостыню? - проговорил он с угрюмой усмешкой, и кончики его густых черных усов поползли вниз.

Хатша поняла мужа. Нет у их недругов ни жалости, ни благородства. Не только руки дарящей не протянут - глазом не моргнут! Обидчики знали: подкормишь хилого, больного - признаешь вину перед ним... А если не выживет Тектыгул? Придется отвечать по древнему степному закону - платить за убийство. Вот чего опасались они.

В жизни своей Бахтыгул не помнил дня, когда богачи были бы справедливы, а он прожил уже вторую жизнь с тех пор, как на его глазах остыли отец и мать.

В тот страшный год тиф не догнал беглецов, догнала судьба. После долгих скитаний они нашли приют у дальних родичей, дядьев по материнской линии, но не нашли счастья. Стали мальчики батраками в богатом ауле рода козыбак, кочевавшем в Бургенской волости. Прошлой осенью минуло двадцать лет, как братья верой и правдой служат баю Сальмену,

младшему из козыбаков, крутому, нравному хозяину.

За годы службы Бахтыгул достиг большой чести - стал табунщиком, то бишь наибольшим среди пастухов, правда, не разбогател. Зато богател его хозяин Сальмен.

Умелые руки Бахтыгула выходили и выкормили в степи немало байских табунов, сотни и сотни голов хорошей крепкой породы.

Младшего, Тектыгула, бай держал в черном теле -доильщиком кобылиц. Шли годы, уходила безрадостная молодость, но ничего не менялось: днем Тектыгул доил кобылиц, а по ночам сторожил овечьи отары.

Бахтыгул был удачливей - все-таки бай его женил. Взял табунщик в жены девушку Хатшу, дочку пастуха из соседнего аула, и она тоже стала служить баю Сальмену, его жене и матери, как служил муж. Бахтыгулу женитьба стоила всего, что он заработал, примерно, за десять лет, однако на то была байская воля. А вот Тектыгулу стукнуло тридцать лет - и он не женат.

Братьев-батраков знали по всей округе, они славились силой и отвагой, и был от них баю еще особый прок.

Род козыбаков - богатый род, а потому жадный, властолюбивый, ненасытный. Издавна козыбаки были известны тем, что при случае затевали барымту, угоняли скот. В этих делах Бахтыгул и Тектыгул были незаменимы.

Им вручали черные дубины, сажали на отменных коней и посылали в тайные налеты. Братья кланялись баю и шли, куда он велел.

Старший брат их хозяина Сальмена, бай Сат, то и дело ввязывался в междоусобные распри, домогаясь должности волостного управителя. Сат сколачивал в волости партии, разжигал меж ними вражду и в мутной воде ловил рыбку. Трещали под ударами дубинок кости у джигитов, бай Сат пожинал почести волостного, а у бая Сальмена разрастались табуны и стада.

Молодцы из других родов побаивались Бахтыгула и Тектыгула, завидовали их силе:

- Нешто они люди - дубины...

Случалось, что и посмеивались над ними:

- Нешто они слуги - рабы... Братья-рабы!

Слава удалая, да нерадостная. Худая слава. Не только чужие, но в родном ауле даже бабы и детишки поговаривали исподтишка:

- Пошли наши барымтой, как велит обычай... Пришли наши с ночной воровской добычей...

Однако был бы доволен бай! Под баем ходим, на все байская воля.

Из года в год, из зимы в лето жирели козыбаки, наглели. Недаром служили им Бахтыгул и Тектыгул. Тяжелы дубины, длинны арканы у братьев-пастухов и кротки души. Двадцать лет пролетело, а они все такие же безропотные, безотказные.

Бай Сальмен ничего им не платил. И никогда братьев и хозяина не связывал договор, обычный в степи: столько-то скота и одежды за такой-то срок... Не было этого баловства в заводе у Сальмена! Разве бай не отец-благодетель своему рабу? К тому же

они родичи, хотя и по материнской линии. Родным не платят - дарят.

Вот почему у Тектыгула в тридцать лет не было ничего такого, про что он мог бы сказать «мое». Чуть больше было у Бахтыгула и Хатши...

Тесная старая юрта, три-четыре лошади, десяток овец - и все! Все, что они, трое сильных и умелых, нажили за много лет усердия и старания, тяжкого труда и отчаянного риска.

Но и то слава богу, кабы были богачи справедливы и кабы в груди у Сальмена билось не кабанье сердце.

Прошлой осенью в ненастную ночь, ветреную, мокрую, стряслась беда. Крики, плач и ругань висели над аулом, когда Бахтыгул пригнал из степи косяк коней. Бай Сальмен метался по аулу, вопя, плюясь, как верблюд, и хлеща плетью всех, кто попадал под руку. Хатша в слезах лежала у потухшего очага, голося по Тектыгулу, точно по покойнику.

- Где он?

- Бог знает...

- Жив или нет?

- Бог знает...

Он был, конечно, в степи. Случилось так, что вихрь разметал отару овец и погнал их прочь от аула. Тектыгул не пошел за ними и, когда подскочил с плетью бай, впервые в жизни не стерпел, сказал ему прямо в глаза, заплывшие жиром:

- Смотрите, какая ночь... А я голый, босой! Один чекмень, и тот сгнил от пота, дыра дыре подмигивает... Дайте хоть поношенную одежду душу прикрыть.

Сальмен оторопел от неожиданности.

- Овцы гибнут... большая отара!... А ты еще торгуешься?

- Я прошу... будьте милостивы...

- Собака! Шкуру свою бережешь! Тектыгул невесело пошутил:

- Она у меня единственная, последняя...

- Так я с тебя три шкуры спущу!

По знаку бая пятеро его молодцов набросились на Тектыгула, повалили наземь, и сам бай в исступлении стал бить его сапогами в грудь, а потом погнал в степь, и Тектыгул покорился. Пошел со стыдом, в тупом отчаянии, сказав:

- Ваш будет грех...

Бай проводил его яростной бранью.

Людей бросало в дрожь при одном взгляде на Тектыгула. Чекмень на нем изодран байскими подкованными сапогами, лохмотья висели, точно космы на верблюде во время линьки. Но все молчали, а бай кричал, подгоняя батрака плетью...

Тектыгул мог бы пришибить Сальмена насмерть ударом кулака, но батраку это и в голову не пришло. Он подумал об этом много позднее, когда сам лежал при смерти.

Бахтыгул велел Хатше присмотреть за косяком и поскакал в степь, зовя брата. Объехал окрестные холмы и лощины, собрал овец, но до рассвета не мог найти Тектыгула, а когда нашел и поднял его на коня, прикрывая от ветра и дождя своим телом, парень был ни жив ни мертв.

Хатша не справилась с косяком, лошадей разметало бурей, точно овец, и как только братья вернулись в аул, их обоих постигла свирепая хозяйская кара. Младшего били уже бесчувственного, бредящего в горячке, и старший не мог его оборонить. Били чем

попало, без жалости и пощады, словно конокрадов.

После той ночи братья ушли от Сальмена. Бежали из аула козыбаков, унося на себе жалкий скарб, в соседнюю Челкарскую волость и укрылись в заброшенном ветхом отцовском зимовье, которое покинули двадцать лет назад.

Но вместе с ними вошла под родительский кров незримая медленная смерть, как некогда тиф. Вошла и стала в изголовье Тектыгула.

Парень слег и больше не поднимался. Всю зиму его бил, выворачивал наизнанку мокрый кашель. Тектыгул харкал густой кровью, выплевывал свою силу шматок за шматком.

Никогда прежде он не сетовал на судьбу, а теперь скулил сквозь зубы, как побитый щенок. Но не потому, что не видел в жизни счастья, не имел жены, не родил детей, и не потому, что не хотел помирать, а потому, что не сквитался с обидчиком. С детских лет Тектыгул был добряком, простодушным и покладистым, а тут словно злой дух в него вселился.

В дни зимнего забоя скота Бахтыгул послушался Хатшу - поехал к Сату, брату Сальмена. Поехал с открытой душой, с робкой жалобой.

Сат выслушал его терпеливо, ответил обстоятельно, как на бийском суде:

- Голодаете, говоришь? Хорошо, что ты не таишься, передо мной. Но у Сальмена вы не голодали! Помираете, говоришь? Хорошо, что ты не лукавишь. Но убитый умирает сразу, а избитый не умирает! Ты тоже попал под горячую руку, а жив... Болеет, говоришь? Вот она, истинная правда. Но ты знаешь, что это за болезнь! Кто из нас не болеет этой болезнью? Кто ее не боится? Родная мать Сальмена и моя жила в полном достатке, плавала в масле, а померла от чахотки. Кого прикажешь в этом винить? Сальмена? Или меня? А может быть, Хатшу, твою жену, ибо она прислуживала покойной? Видит бог, ты принудил меня сказать то, что не следовало говорить. Но как же ты посмел заикнуться, кто тебя надоумил - взыскивать с человека то, что отбирает бог?

Не позволив Бахтыгулу возразить ни слова, Сат отослал его от себя. И Бахтыгул ушел, горько смеясь в душе над Хатшой и над собой.

Ранней весной пробил час Тектыгула. Вслед за силой истекла из него жизнь. Незаметно погас в его глазах мутный свет.

Долго не мог утешиться Бахтыгул, долго оплакивал брата. Горевал сорок дней, а через сорок дней собрал немногочисленных и небогатых своих родичей из рода сары, истратил последнее, что имел, и устроил, как полагается, поминки по Тектыгулу.

На поминках говорили, что покойный был львом. Говорили про его муки. И еще про то, что род сары осиротел. Остался род без батыра.

«Ая как без рук и без ног...» - думал Бахтыгул, повесив голову, и в сердце его, как в юрте, было пусто и голо.

## Глава 2

Осенью Бахтыгул затеял тайное опасное дело. Выбрал глухую дождливую ночь. Приторочил к седлу бурдюк с малтой - супом, густо заправленным простоквашей, и пустился в горы. Вместе с ним увязался его давний товарищ и советчик - голод.

Бахтыгул ехал и думал:

«Осень заветная, долгожданная... Дожди шумят, дожди застыт, дожди слизывают след... Если будет удача, к утру угоню ее за три перевала! Неужели я даром брожу, даром слежу, даром ее сторожу?»

Горы величаво громоздились в ночном небе. Бахтыгул едва различал в темноте тропу, но скалистые хребты, лесные скаты видел ясно. Пастух зорек, как пес. А места знакомые, исхоженные-изъезженные, любимые.

Издали днем горы походили на каменные юрты великанов, пустынные, недоступные смертным. Вблизи и в ночи они принимали иной облик, пугающе живой. Мохнатые дремучие заросли елей на крутизнах смахивали на шкуру громадного, сонного, мирно дышащего чудища. Лощины, точно уши с острыми позверинному

настороженными концами, а пропасти - открытые пасти, дышат холодом и тленом, из них торчат клыки скал.

Но Бахтыгулу здесь ни страшно, горы ему родные; они встречали его тишиной, покоем, они манили его: иди, спеши, мы укроем тебя.

Правда, тропа ненадежна, особенно в дождь, в осеннюю ночь. Бахтыгул, не колеблясь, доверился своему коню. Его Сивый, крепкий, бывалый, привык карабкаться на кручи, ходить над обрывами, он цепок и ловок, как горный козел. Местами тропа сужалась в нитку, на ней рядом не умещались два копыта, но Сивый шел спокойно, плавно, легко, не прижимаясь боком к выпуклой скале справа, не кося пугливого взгляда на пропасть слева, шел, словно канатоходец.

Сивый выручит! Он чует, куда собрался хозяин. И когда Бахтыгул слегка сжимал ногами его бока в знак тревоги и опаски, конь вскидывал голову и дергал повод, не соглашаясь. Спина его мягко опускалась под седлом, как бы успокаивая: сиди смирно, пока не довезу, а там уж твое дело...

Бахтыгул ехал и думал - за себя, и за коня, и за тех, кто ему встретится:

«Вряд ли и вы рады такой погодке. Под дождем мы все как бездомные собаки! Посмотрим, у кого нос мокрей и кто из нас подождет хвост... Сальменовцы вы или из других козыбаковцев - одинаково! Весь род козыбак у меня в долгу неоплатном».

Минула бесконечная ночь, короткий пасмурный день показался длиннее. С позднего ленивого рассвета до ранних сумерек Бахтыгул прятался, отсыпался в сосновом бору Сарымсакты, что значит чесночный, густо душистый... Бор, темный, дикий, пах сладостно-горько, но на голодный желудок не спалось. Живот у Бахтыгула подвело, как у волка. Малта в бурдюке иссякла. И разве это еда для мужчины? Напиток... он для горла, не для желудка, а чем слабей жажда - сильнее мука голода.

Бахтыгул едва дождался темноты. Сомнения его утикли. Он слышал один голос своего тайного советчика, неотвязного друга.

«Сальменовцы или иные ихние... хоть сам Сат... была не была!»

Сейчас табуны должны быть еще на горных пастбищах - джайляу. Рано им спускаться в степные низы. Там, на поднебесных лугах, нынче ночью и быть встрече... Видит бог, на ком вина...

И все же в глубине души Бахтыгул колебался. «Пускай сперва Сальмен оправдается!» - думал он, но ему самому хотелось оправдаться прежде, чем он сделает то, что задумал.

- У меня дома горсть размолотого черного проса... - шептал он в уши коню, - скудная горсть на всю семью... Дети послали меня сюда, они безвинные...

К полуночи конь побежал быстрее. Тропа расширилась, скоро джайляу. Бахтыгул всей грудью почувствовал впереди простор. Он ободрился, распрямил усталую, озябшую спину. И в него и в коня вливались свежие силы, желанная удаля.

Теперь всадник походил на большую крепкогрудую птицу, которая медленно приподнимает крылья. Эта птица - старожил и хозяин здешних мест, горных высей, снежных белков. Вот-вот она расправит крылья, взмоет в небо и повиснет над

скалистыми глыбами, бездонными ущельями Алатау, зорко высматривая добычу. Прицелится и вдруг ударит со свистом, подобно стреле, схватит и изломает железными когтями.

Вспомнил Бахтыгул шальное пьянящее чувство, с каким он в молодости хаживал в ночные набеги по воле козыбаков. Тогда он ощущал себя такой птицей. Летел сломя голову, бил не задумываясь, сплеча. Рядом с ним шел брат Тектыгул, юноша с нравом ребенка и с силой батыра.

Нет, они не были такими уж простаками, баранами, ломящимися лбом в лоб! Умели и выследить, подстеречь, обойти и обвести, перемахнуть на полном скаку через сонного, не разбудив, проскользнуть невидимкой под носом у бодрствующего, утерев ему нос. Были ловки, хитры, сметливы. Силе одной скучно, а вкупе со смекалкой весело. К тому же были упорны: если не везло, не шла удача, с полпути не сворачивали, дрались яростно, неутомимо, один против двоих-троих.

Сейчас бы Бахтыгулу прежний азарт, былую беркутову хватку!.. Нет их и в

помине. Что-то надломилось, надорвалось в груди.

Однако раздумывать некогда. Еще издалека Бахтыгул особым пастушьим чутьем почувствовал незримое движение по мягким мокрым травам многоголового табуна. Кони паслись за каменным седлом перевала, а Бахтыгул уже слышал их сквозь шелест дождя и посвист ветра.

Если сторожа тут опытные, они будут кружить неподалеку от табуна, чтобы лучше слышать и вовремя перехватить чужого. Таких обмануть трудно даже глухой ночью. И Бахтыгул покороче взял повод, следя за тем, чтобы Сивый не застучал копытами по камню, а главное, чтобы он, соскучившись в долгом одиночестве, не заржал при виде табуна.

Медлить нельзя. Ночное дело любит проворных, решительных. Бахтыгул держал коня на коротком поводу, не давая ему опускать головы. Подобрался и он, сам готовый каждую секунду к любой неожиданности. Маленькие узкие глаза его по-птичьи расширены, округлены, будто и вправду видели в темноте.

Табун неторопливо тек вверх, по луговому скату, навстречу Бахтыгулу. До табуна - расстояние хорошо брошенного камня. Бахтыгул застыл под одинокой скалой. Похрапывая, пофыркивая, кони дружно хрустели сочной травой. Далеко разносилось игривое залиvistое ржание молодняка. Изредка подавали голос жеребцы - заботливые, осторожные и воинственные хозяева косяков. На миг Бахтыгул отчетливо различил переливающееся, плотное пятно табуна. И испугался - неужто посветлело? Нет, темно, хоть глаз коли. А табун богатый, несметно богатый.

Бахтыгул снял шапку и повесил ее на луку седла. Прислушался, закусив длинный ус. Ничего подозрительного. Табунщики не то лукавы, как бесы, не то попросту спят. Не видно и не слышно людей. Однако то, что кони паслись кучно, настораживало. Это не случайно. Кто-то умелый собрал их, держал вкупе и вел в непроглядной ночи на новые травы.

Вдруг тонкая живая струйка отделилась от тесно сбитой массы табуна и потекла к

скале, у которой притаился Бахтыгул. Он тотчас бесшумно лег на спину Сивого, заставил и его опустить морду к траве. Струйка расплескалась, расползлась и вновь слилась. Ага! Это жеребец отвел от табуна свой косяк. Стало быть, табунщика поблизости нет...

Бахтыгул немедля толкнул коленями Сивого, и тот потихоньку, будто пасясь, пошел к косяку.

Косяк тут же насторожился, стал отходить в сторону, не подпуская к себе чужого одинокого коня. Длинногривый буланый красавец жеребец, вокруг которого держался косяк, высоко вскинул голову и негромко коротко заржал, словно спрашивая: ты кто? Он, конечно, заметил человека.

Опытный слух сразу отличит это басистое ржание: в нем угроза и вызов. Как бы не подманило оно табунщика! Но Сивый вовремя отступил вбок, а Бахтыгул прикинулся, что дремлет в седле. Жеребец опустил голову.

Сперва кони в косяке показались мелковатыми -годовалый, двухгодовалый

молодняк. Ночью, пока не подъедешь вплотную, не разберешь, насколько они упитанны. Постепенно Сивый подобрался к ним ближе, и Бахтыгул вздохнул с облегчением, жадно прищуriv глаза. Вот она! Отыскалась, желанная...

Крупная дородная кобылица - лучшая в косяке, а может, и во всем табуне. Бока у нее гладкие, круглые, грива подстрижена, ходит рядом с жеребцом - хороша.

Бахтыгул снял с седла волосяной аркан. Больше он не колебался. Когда умный, знающий свое дело Сивый забрался в самую середину косяка и притиснул плечом кобылу, Бахтыгул не промахнулся в темноте - первым же точным броском накинул ей на шею крепкую петлю аркана. Таким броском Бахтыгул мог бы заарканить птицу на лету.

Кобыла была строптива - целое лето ее не касались ни узда, ни путы. Капризно, испуганно встряхнув, она с места метнулась вперед, прочь из косяка. Но Сивый был готов к этому - не впервой! Не дожидаясь понуканий, он так же стремительно пошел следом за беглянкой, не давая ей вырвать аркан из рук хозяина.

Резвая кобыла долго неслась напрямик, во всю прыть, так, что аркан звенел на скаку, словно струна. Бахтыгул расчетливо, плавно сдерживал ее, не позволяя кинуться вбок и дернуть аркан. Сивым он не правил, пастуший конь сам шел как надо, помогая всаднику в каждом его движении. Кобыла брыкалась, спотыкалась на скаку и вскоре устала, пошла по кругу, поворачивая к табуну.

Тут-то Бахтыгул дал ей почувствовать мощь своих рук и батрацкой поясницы. Он круто повалился в седле на спину, мыча от натуги. Кобыла задохлась в петле аркана и умерила бег. Потом остановилась как вкопанная, понунив голову.

Осторожно подбирая и укорачивая аркан, успокаивая кобылу тихими ласковыми и властными возгласами, Бахтыгул подъехал к ней и быстро, ловко взнуздал. Легонько, скользящим ударом плети стегнул по мокрому от дождя и пота крупу и повел за собой.

Кони в табуне, беспокойно озираясь, теснились, толкались, отходя от Бахтыгула. Это не могло остаться незамеченным. И вот

прямо перед ним, а вернее, над ним, замаячил на рослом коне грузный и словно безголовый верзила с большущей дубиной...

Померещилось? Нет... стоит на пути, не шевелясь, как безгласный чурбан. Ждет, соображает, свой это или чужой? Ну и овечьи же у него мозги...

Бахтыгул резко пришпорил Сивого, посылая его вперед. Верзила немо протянул длинную руку и схватил коня под уздцы. Сообразил наконец! Худо дело. Бахтыгул с дрожью представил себе, как петля волосяного аркана затягивает его плечи... Однако верзила вел себя странно: он удерживал Сивого как бы нехотя, лениво, вяло. Дубинищи своей не поднял. И молчал, чего-то выжидая, густо сопя.

Бахтыгул встал в стремях, приглядываясь, и хохотнул невольно. Так и есть, перед ним не баран -овечка. Это Кокай, известный удалец, парень с дура-ломной, лошадиной силой и с заячьей душой, посмешище всей округи. Кто над ним не шутил, кто его не разыгрывал!

- Р-раздавлю... ч-чучело! - страшным шепотом выговорил Бахтыгул и, хлестнув

Кокая плетью по блошиной его голове, снес с нее шапку.

Удар не сильный, скорее обидный, но Кокай кулем вывалился из седла и укрылся за крупом своего коня, сопя еще гуще. Он не посмел даже крикнуть, позвать товарищей. Знал, что посмеются над ним, тем и кончится, как всегда. Лучше уж помалкивать, прикрывшись ночной темнотой и моля аллаха, чтобы этот неузнанный поживей убрался восвояси.

Бахтыгул дернул за повод и поскакал к большому ущелью, заросшему сосняком. Там он укроется надежно, там его следа и днем не сыскать...

А Кокай - табунщик Сальмена, самого Сальмена!

Значит, угодил Бахтыгул в точку, прямо в жадное кабанье сердце. И зря мучил себя сомнениями двое суток.

Сивый несся во весь мах, обходя табун. Кобыла покорно и охотно шла рядом, плечом к плечу.

Холодный зев ущелья открывался перед ними. И тут они напоролась на другого табунщика.

Он скакал на хорошем коне сверху, от перевала, наперерез Бахтыгулу, зычно крича:

- Эй, кто там? Кто такой?!

Бахтыгул мигом узнал его по голосу, по уверенной повадке. Этот неробкого десятка, черту не спустит. Сам Бахтыгул был некогда на его месте у Сальмена -знал бай, кому довериться.

Припав к гриве Сивого, Бахтыгул молча выпростал дубину, а табунщик на полном скаку поднял над головой свою, вопя во все горло:

- А!.. Сюда! Ко мне, братцы! А!.. - Раскатистое эхо погналось за ними по пятам.

И тотчас с разных сторон отозвались голоса других табунщиков. Судя по тому, как дружно они всполошились, ни один не спал и их было много. В темноте они живо и безошибочно разобрались, в какую сторону кинуться, и это их не спутало. Бахтыгул услышал за собой гулкий топот азартной погони.

Многоголосое яростное улюлюканье раскатилось над табуном. Табунщики словно науськивали друг друга дурным криком и

накликали бурю. В одну минуту послушный, смирный табун одичал.

Десятки голов и грив разом взметнулись вверх, изогнулись длинные хвосты, разлетелись, точно по ветру. Кони злобно грызлись, лягались, подкидывая задами, громоздясь на дыбы. Заметались жеребцы, стараясь развести в разные стороны свои косяки. В беспорядочном гуле копыт потонули голоса людей.

Конские спины кружились и дыбились, как волны на реке перед порогом. Затем все слилось воедино - в общий тяжелый круговорот разгоряченных и словно слепленных между собой тел. А этот круговорот внезапно вылился в страшный, сокрушительный вал, дробящий и размалывающий все и вся тысячами копыт.

Не разбирая пути, в паническом ужасе, будто от наводнения или пожара, табун стремительно покатился по травам джайляу. Кони распластались в бешеном галопе, неслись бок о бок, вплотную, сминая и растаптывая слабых, и, подобно легким камешкам от снежной лавины, отлетали прочь однолетки и жеребята, падая замертво.

Казалось, раскат грома, бесконечный, оглушительный, навалился и лег на горные луга, на окрестные хребты, от ущелья до перевала. Благо еще, что конский вал катил не к обрыву.

Табунщики один за другим останавливались и поворачивали обратно. Поздно они спохватились! Ни один из них не видел, за кем гнался. Того и гляди, заблудишься в темноте.

Не сразу удалось остановить и успокоить табун.

Но наконец он утихомирился, и головы коней опустились к траве. Лишь ржание маток, искавших своих жеребят, пронзительно звенело в тишине.

Табунщики съехались и загалдели, бранясь, упрекая друг друга:

- Что же это было? Кто первый кричал? И откуда он взялся, шайтан проклятый! Кто его видел самолично?

Никто ничего толком не видел и не знал, но как же не крикнуть ночью? В темноте твой зов - мой глаз...

Осмотрелись крикуны и обнаружили, что нет старшего табунщика.

Вернулись к ущелью, рассыпались, негромко перекликаясь, зовя Жамантая.

Его нашел проворный Кокай на острых камнях скалистого ската, опоясывавшего луга. Жамантай слабо стонал, от него пахло кровью, рядом валялась дубинка, а его коня поблизости не было видно.

- Э!.. - вскрикнул Кокай. - Гляди-ка... Кто-то его треснул по башке... Из него вытекла вся кровь!

Жамантая подобрала.

- Живой! Дышит... Кто тебя? Кто?

Старший табунщик невнятно мычал, показывая на ущелье.

У этих камней он столкнулся с Бахтыгулом. Жамантай первый ударил его, но сгоряча, с налета, и вышел удар слабый и неметкий, серединой дубины по плечу. Зато крепок был ответный удар - и всадник и конь покатались под откос...

Не успел Жамантай опознать чужого. Но судя по тому, как вор управился один в ночи, оставив в дураках столько сторожей, знаток парень, понаторел на тайных делах. По резвости ценишь коня, по резвости узнаешь и волка...

Бахтыгул ехал по ущелью неторопливой рысцей. Сперва он прислушивался, потом успокоился, и Сивый не настораживал ушей. Погони за ними не было. На всякий случай Бахтыгул покружил среди сосен, сделав несколько лисьих петель. Кружил по сырой земле, уходил по гладкому камню. Впрочем, вряд ли после дождя поднимут его след.

Ушел Бахтыгул и увел свою удачу. То и дело он поглядывал на кобылу, любуясь ею. Очень она ему нравилась.

Потрепав ее по шее, он нащупал под короткой гривой тугой, плотный слой жира. Ткнешь пальцем -пружинит. Ну разве не удача? Давно Бахтыгул не был так доволен.

- Хороша... - с восхищенным вздохом сказал он. -Добрая скотинка!.. - И чтобы не сглазить, сплюнул на пальцы: - Тьфу-тьфу!

Дождь моросил не переставая. Сырая мгла омывала лицо Бахтыгула. Он, усмехаясь, подкрутил мокрый ус. Бахтыгул не боялся заплутаться. Пусть черно небо, черны горы, а перед мордой Сивого словно ком кудлатой овечьей шерсти, - Бахтыгул видел в этой черноте небо, видел горы и хорошо видел дорогу.

Задолго до рассвета он по душистому запаху почувствовал, что вышел к бору Сарымсакты. Дорога вниз всегда короче дороги вверх... И Сивый работяга, в хозяина! Но когда на опушке смолистый дух ударил в нос, сморщился, отвернулся Бахтыгул, его замутило. Он проглотил все, что осталось в бурдюке, и слез с коня. Расседлав его, обтер, огладил ему спину, бока, грудь. Надо и Сивому поостыть, пообсохнуть, и у него, наверное, гложет нутро.

Бахтыгул задумался, сидя на седле под старой сосной. Сивый тихонько толкнул хозяина мордой в плечо. И правда, пора. До света надо уйти подальше. Грех мешкать, ведя удачу в поводу.

Бахтыгул снова заседлал Сивого и потуже подтянул заднюю подпругу, чтобы седло не сползало на холку коню, потому что ехать предстояло все время вниз.

## Глава 3

Под утро дождь прекратился, стало теплей. Бахтыгула сморил сон. Он задремал в седле, упершись усами в грудь.

Очнулся оттого, что всхрапнул. В испуге встряхнулся, дико озираясь. Ему привиделось, что его душат.

Светало. Как бы не попасться кому-нибудь на глаза...

Бахтыгул поехал дальним, скрытым путем, продираясь сквозь девственные заросли карачая, цепкого, как конский клещ, тесного, как паутина.

Теперь он не останавливался и днем, погонял и погонял, не давая передышки ни себе, ни коням.

- Домой пора, детишки ждут... - бормотал он в уши Сивому.

Зимовье Бахтыгула сиротливо ютилось в пустынной горной лощине. Пыльные караванные тропы не пролегали в этих краях, зато в лощине можно было укрыть хоть целый косяк угнанных коней. Здесь Бахтыгул родился и похоронил отца и мать. Здесь он был дома.

На виду у зимовья он спешился, стреножил для порядка кобылу и валко зашагал к жилью, разминаясь, облизывая пересохшие губы.

До снега оставалось не меньше месяца, и семья жила еще в юрте, драной, прокопченной, поблизости от изгороди загона.

Бахтыгул крикнул, тронул черный ус, чтобы скрыть усталую улыбку. Он увидел Хатшу. Загорелая до черноты, едва прикрытая рваными обносками, она хлопотала у очага, кипятила детям чай. Детишек было трое: первенцу Сеиту десять лет, второму, Жумабаю, пять, двухлетнюю чернявенькую шустрюю Батиму еще не отняли от груди. Двое сыновей, дочка... Вот богатство Бахтыгула и Хатши.

Отца встретили без шума, без суеты, но сразу словно посветлело в черной юрте. Рослая ладная Хатша замерла, увидев мужа, в радостно-тревожном ожидании. А он спокойно подошел к дому, не говоря ни слова, не роняя достоинства мужчины. Перешагнул через наваленный у порога хворост, вступил в юрту и, побряхтывая, сел на главном хозяйском месте у стены, против входа. Это - тор, «красный угол» юрты. После трудной дороги сладко это место под родным кровом.

Недолго, однако, молчал Бахтыгул, теребя ус. Не выдержал, покосился на красные угли в очаге, повел носом.

- Ну, как там у тебя, жена... Ярко ли горело, живо ли поспело? Нет ли чего-нибудь хоть на один зубок...

Хатше хотелось кинуться, прильнуть к его широкому твердому плечу. Она не посмела; почтительно, робко спросила от порога:

- Удалась ли ваша дорога?

- Э, поворачивайся... - буркнул он в ответ.  
- Некогда мне мешкать!

Все, что имелось в доме, выставила Хатша на стол. Не пожалела и масла, которое хранила с весны в высушенной прозрачной бараньей кишке. Достала его из сундучка для продуктов с самого дна. Подала мужу. Налила горячего чаю. И то и дело старалась хоть мимолетно коснуться его локтя, плеча своим телом. Он шумно прихлебывал обжигающий чай, а у нее щемило в груди, и он это видел.

В семье праздник. У детей заблестели глаза, радость так и рвалась из них наружу. Жумабай и Батима потихоньку пинали друг

друга, шаловливо пересмеиваясь. Сеит строго шикал на них, а у самого улыбка до ушей.

Все улыбалось и в душе Бахтыгула. Впервые за много дней словно разжались незримые тиски, сжимавшие его грудь. Но по лицу не заметишь, что он рад. И слова тратить попусту он не любил. Сидел, пил чай, поглаживая ус.

Опорожнил три пиалы подряд, утер усы, поднялся и пошел из юрты. С порога бросил жене через плечо как бы самое маловажное, а она ждала этого с трепетом:

- Прихвати мешок, иди за мной.

Наскоро она прибрала в юрте, наказала старшему сыну Сеиту:

- Никуда из дому не уходи. Смотри за огнем. Если кто придет, спросит, скажешь: мать пошла за кизяком, сейчас вернется.

В юрте остались одни дети. Поднялась возня. Из-за дырявых войлочных стен доносился то отчаянный визг и плач, то залиvistый смех. Жумабай, неумный задира, донимал и сестренку и брата, выхватывая у них из рук лакомые кусочки примшика - сушеных сливок.

Хатша нашла мужа неподалеку, в укромном месте, на дне маленького высохшего ледникового озерка. Дно каменистое, в щелях плотно слежавшийся прошлогодний снег, берега отвесные, точно частоколом, обнесены «бараньими лбами» - бело-розовыми выветренными камнями, острыми, как рога, проросшими длинными космами трав, похожими на козлиные бороды. Место незаметное, и попасть сюда можно только с риском сломать коню ноги, а себе шею.

Бахтыгул сидел на корточках подле распластанной туши кобылы. Он уже начал ее свежевать. В каменной яме было темновато, холодно. Сильно пахло сырым мясом. Хатша принялась торопливо и ловко помогать мужу

Порядочно пришлось ей повозиться, когда он вывалил, на шкуру внутренности лошади. Разобраться в них было женской заботой, и Хатша старалась как умела.

Между делом она быстро, ловко развела на плоском камне огонь. Она не забыла, что муж невесть сколько не ел мясного, и закопала в горячие угли жирную сизо-

лиловую почку и еще два-три любовно выбранных лакомых куска - доброе ему угощение, кормильцу.

Бахтыгул беспокойно поглядывал на огонь. Как бы дым не привлек незваных гостей... Но и тут он смолчал. Голод туманит разум, приклеивает язык к небу. Боже, сохрани этот огонь, накорми этой едой!..

До вечера трудились не покладая рук. Разделали тушу и надежно припрятали шкуру и мясо, заложив их камнями. Выделили и оставили только недельную долю мяса и требушки. Доля умеренная, но для батрацкой семьи празднично сытная. В сумерках вернулись в юрту.

Бахтыгул исподволь усмехался в усы, глядя на то, как Хатша хлопчет у очага: подвесив над огнем закопченный казанок с водой, она бросила в него кусок нежного вымени, сердце, щедро заправила варево подгривным жиром. Заодно она жарила на углях кусочки печени и раздавала их детям.

Ночь дышала холодом, а в юрте тепло, по-домашнему уютно. Сеит подтаскивал и клал под руки матери хворост. Мальчик старался, но его усердие не обмануло

Бахтыгула. Он окликнул сына, тот подошел как бы нехотя. Сеит вдруг загрустил.

Это с ним случалось и прежде. Станный он был мальчик, не по летам задумчивый, не по разуму пытливый, не к месту понятливый. Дома уныние, гнетущее молчание, старшие рассорились, а он ни с того ни с сего пускается в пляс, скачет, точно козленок. Все веселы, а он уткнется носом в колени - и не поднимешь его с земли. Когда на него этакое находило, перед ним хоть золото сыпь! Смотрит, как побитый пес или как помешанный, тоскливо и безучастно, и словно слепнет и глохнет, не оборачивается даже на зов матери и отца.

Вот и сейчас задумался мальчик, тяжел его взгляд, как у взрослого, на безусых губах бледная печальная виноватая улыбка...

Бахтыгул усадил его рядом с собой. Тут же к отцу бросились и Жумабай и Батима, прилипли, как щенки к соскам. Хатша укрыла всех четверых тулупом - они сидели поодаль от огня.

Дети притихли. От них исходил сладостный блаженный покой. В котле булькало, в юрте вкусно пахло, Хатша

суетилась, шутливо приговаривая. Бахтыгул слышал ее голос точно сквозь ватный халат. Он не заметил, как уснул сидя.

Хатша наполнила теплой водой узкогорлый кумган и окликнула мужа, предлагая полить на руки. Он с усилием разжал веки. Глаза его были мутны и в отсветах дымного пламени казались налитыми кровью. Во сне у него озябла спина, затекли ноги, он потянулся, вздрагивая, спросонья разметав приникших к нему детей.

- Ох-хо, неживой я... - пробормотал он, складывая ладони ковшиком.

- Сейчас, милый, сейчас... - отозвалась Хатша ласково и любовно.

Сняв казанок с треножника, она схватила деревянный черпак, чтобы выложить мясо на блюдо. А Бахтыгул поднял с земли свой пояс, вытащил из ножен длинный узкий нож с черной рукоятью и попробовал остроту лезвия большим пальцем левой руки. Нож отменный, мясо режет, как масло. Бахтыгул из чайника обмыл клинок кипятком.

- Сейчас, сейчас... - повторила Хатша, и тут снаружи донесся лай.

Дружно забрежали старая сука и два ее щенка. По лаю Бахтыгул понял, что собаки бросились к загону.

Хатша так и застыла, подняв черпак над казанком, испуганно глядя на мужа.

Топот множества копыт словно вырвался из-под земли и заглушил лай. Бахтыгул отчетливо различал знакомый дробный стук волочащихся по камням соилов, испытанного оружия степняков.

- Прикрой мясо... недолго до беды! - глухо вскрикнул он.

Хатша заметалась, точно птичий пух на ветру, - она никак не могла найти крышку от казанка. Топот приближался. Муж смотрел сердито, зло, а она совсем потерялась. Размахивая черпаком, обливалась потом, шептала бессмысленно:

- Сейчас, сейчас...

Бахтыгул выругался сквозь зубы, и она впопыхах подхватила с земли половик и покрыла им котел, а черпак кинула в ведро с водой, судорожно отдернув руку, точно обжегшись. Из-под половика выбивались струйки пара, но Хатша не замечала этого. Ноги ее не держали, и она, села прямо на голую землю.

В юрту уже входили без спроса и без приветов чужие люди, и лица их не предвещали ничего хорошего. Это были козыбаковцы - головорезы, здоровенные, матерые, отборная шайка насильников, ночных добытчиков. Поступь нахальная, взгляды презрительные. Сразу видать, что привыкли говорить кулаком да дубиной и не ждут, что им возразят.

Постегивая по голенищу плетью, важно, вразвалку, вошел толстобрюхий и толстозадый Сальмен, подпоясанный широким кожаным ремнем с серебряными бляхами и насечками, и с ним еще несколько надутых, спесивых, сытых. Грузно стали против Бахтыгула.

В юрте становилось тесно, а сзади все напирали, проталкивались поближе к баю. Последним юрко вывернулся из толпы щуплый рыжебородый человек с колючими глазками. Этот и не взглянул на Бахтыгула, а с ходу шумно потянул носом и, словно нырнув, лег у очага, привалясь плечом к одуревшей от страха Хатше. Она отстранилась, он подмигнул ей, нагло ухмыляясь. Шуты да охальники везде как дома!..

Дюжий краснорожий детина, устрашающе тараща глаза, раздувая ноздри и кривя рот, лизнул свои подбритые усики и начал без обиняков:

- Эй, вчера ночью на джайляу Дэн ты увел из нашего табуна жеребую кобылку и проломил башку табунщику Жамантаю. Больше некому! Всякий, кто понимает, скажет: твоих рук дело. К тому же видели поутру в горах одинокого всадника с двумя сивыми лошадьми. А один заметил под вечер дым близ твоей юрты. Словом, нечего тут воду толочь. Ограбленный отцу не спустит! А мы тебе - и подавно... Отвечай!

Бахтыгул не оробел перед всей этой разбойной оравой, хотя знал: приехали по его душу люди жестокие и тупоумные, от них не жди пощады. От твердил себе, словно клятву: «Моя правда, ваша кривда! Что бы я ни сделал, Сальмену - все поделом!» И потому, не отвечая верзиле, спокойно спросил бая:

- Кажется, ты меня хочешь обратить в вора? Когда Бахтыгул был вором?

Сальмен, отдуваясь, процедил:

- Белую ворону из себя не корчи!

Ни один мускул не дрогнул на каменном лице Бахтыгула.

- Куда вороне до ястреба! Мне ли с тобой равняться, тебе ли со мной квитаться?

Сальмен мгновенно побагровел, задохся от ярости.

- Ах, ты... ах, ты... змея...

- Докажи сперва! Кто меня уличил! Кто тому свидетель?

- Найдется... будь спокоен...

- Где он? Пусть скажет мне в глаза.

- Крутишь! - перебил бай. - Увел скотину перебесил табун... За одну ночь - такой убыток. И это ты, ты, выросший у меня на руках!

- Оно и видно, что у тебя на руках. Недаром швыряешься мной как попало. Тебе не привыкать, знать! А скажи, за что на меня взъелся?

- Ты же мне пакостишь и ты же меня попрекаешь?

- Будто не в чем тебя попрекнуть! Бай тупо уставился на батрака.

- А что я у тебя взял?

- Спроси: чего не взял! Душу из меня вынул. Брата родного сгубил. Забил до смерти...

- Вон оно что! Стало быть, я твой кровник? Бахтыгул приложил руки к груди.

- Сам бог подсказал тебе эти слова... Ты их выговорил первый!

- Рехнулся ты! Сдурел?

Бахтыгул с горечью покачал головой.

- Умиравшему не дал спокойно помереть... Ни привета, ни подаяния! Полгода он чах, ждал от тебя хотя бы паршивой овцы. Надеялся хоть перед смертью сердцем утешиться...

Бай прищурил заплывшие глаза, поцокал языком.

- Э... вон куда гнешь... Что ж, считай давай! Много ли там с меня причитается? Может, огулом половина моего добра - твоя? Хватай, не зевай! Что еще вздумал содрать с козыбаков, с Сальмена?

Угодливый и угрожающий смешок слышался в толпе, но Бахтыгул бровью не повел. Пусть он один. Зато с ним правда!

- Считать, говоришь? Изволь. Двадцать зим я подстилал лед, укрывался снегом, а летом сутками не смыкал глаз. Двадцать весен не радовался, двадцать осеней не жаловался, света не видя, пас твои табуны! Столько же бедовал с твоими отарами горемыка Тектыгул. Хатша двенадцать лет как стала мне женой, а тебе слугой, угодницей твоей матери. Таяла в чахотке твоя мать, таяла молодость-красота моей жены. И что ж нам за это за все? Одно право - ковырять в носу, пока не подохнем с голоду?

- Понял я, понял... Дранный паршивый раб! -закричал Сальмен, брызжа слюной. - Вижу тебя насквозь. Какова дерзость! Ворюга срамить меня вздумал! Ну, ты у меня прикусишь язык... Где кобыла?

- Кобылу проси через суд.

- Про-сить? Ах, недоносок, недоумок! Голь беспорточная... На что надеешься?

- За тобой сила, за мной правда. Пускай нас рассудят.

- Как же - рассудят, погоди! Ишь как разговорился, болтливый мерин. С козыбаками затеял тягаться? Суда хочешь? Правды ищешь? Хо-ро-шо... Судись-рядись,

коли у тебя язык мелет. Там посмотрим, что кому присудят... Последний раз спрашиваю: где кобыла? Ну? - И Сальмен, багровея, замахнулся плетью.

Бахтыгул не шевельнулся, будто это его не касалось. Краем глаза он видел, как на него надвинулись, потряхивая дубинами, байские молодцы. Ждут. Только мигни.

Он сказал, вздохнув:

- Нету вашей кобылы и в помине...

- Куда дел?

- Отдал одному дружку, чтобы увел подальше. Дружок верный, не выдаст...

- Врешь, душа из тебя вон!

- А вру, так и не спрашивайте! А отвечать не стану. Тогда рыжебородый, щуплый, лежавший у очага,

приподнялся на локте и заговорил дурашливым скрипучим басом:

- Эй, молчаливый... к чему отпираться? Чего без толку лошадей гонять?... Потеха, право! Провалиться мне на месте, но вот в этом казане, к которому хозяйка глаза привязала, то самое, что чует мой нос. Аж ноздри щекочет. Мясом пахнет, клянусь, это сочная конина... Откуда она у тебя, хозяин, а? Поведай-ка нам, мы послушаем.

Бахтыгул молчал, Хатша не поднимала глаз, и рыжебородый вскочил, сдернул с казана половик, взмокший изнутри от пара.

- Так и есть! Крышка не к месту, открыл невпопад, а на доньшке клад!.. Что же, гости дорогие, - как раз к вашему приходу. За чем же дело стало? Мойте руки, а ты, Хатша, подай блюдо. Живей!

Сальменова банда загалдела, теснясь вокруг бая, усердно работая локтями.

Хатша, онемевшая от горького стыда, протянула большое блюдо.

Рыжая борода сам выложил и разрезал мясо. Сальмен и десяток наиболее свирепых молодцов, засучив рукава, принялись хватать жирные, нежные, дымящиеся куски.

Бахтыгула даже в насмешку не подозревали. Хозяин дома стоял в стороне и глотал голодную слюну. Дорогие гости плотно отгородили его от блюда спинами и задами.

Хатша смотрела в землю с ненавистью и омерзением. Немало она повидала в своей жизни подлостей, а такого еще не видывала!

Громко чавкая, уписывали гости за обе щеки, а с ними - бай... И не лопнула его утроба!

Когда же заблестело дно блюда, Сальмен сытно рыгнул и кивнул Бахтыгулу:

- Теперь покажешь двор. Посмотрим, что там у тебя припрятано. И пусть сгинет мой род, если я оставлю тебе хоть кобылий хвост! У меня не разживешься, врешь... Все заберу без остатка. А ну, поворачивайся, покуда живой!

Голодная боль, казалось, завязала узлом все в животе Бахтыгула.

- Ищи, если хочешь, бери, если найдешь, - выговорил он сквозь зубы, дрожа от унижения и ожидая худшего. - А вылупленным глазом, длинным языком меня не испугаешь...

Сальмен подскочил и дважды, крест-накрест, хлестнул Бахтыгула змеино-желтой плетеной камчой...

Тот не поднял даже руки, чтобы прикрыться. Смотрел не мигая, и слезы наворачивались на его опухшие от недосыпания веки. Бай разразился гнусной бранью.

Вот чего опасался больше всего Бахтыгул: на глазах у жены, у детей...

Заломив руки, Хатша пронзительно закричала:

- Будь проклят, козыбак, бог тебя покарает! Коротко вскрикнул маленький Сеит:

- Свинья! - и прыгнул на грудь Сальмену. Бай отшвырнул мальчишку. Тогда Бахтыгул, не помня себя, схватил за горло обидчика.

Страшен был в ту минуту батрак и сильней пятерых. Не сразу оторвали его от Сальмена, не сразу привели бая в чувство. Едва очухавшись, икая от злости, Сальмен вновь заорал:

- Будешь ты у меня в кутузке! Паскуда... Сгною, в землю вгоню, закатаю в Сибирь! Или лучше бы мне не родиться...

Но Бахтыгул уже не слышал ни брани, ни угроз. Его били смертным боем. Огненные зигзаги и кольца вспыхивали, мелькали и сплетались перед его глазами. Потом и они потухли. Он с гулом полетел в узкий черный колодец, колотясь головой, спиной, животом о его стены, и никак не мог долететь до дна.

На миг сознание вернулось к нему от режущей боли в скуле. Точно шилом крошили десну. И опять темнота, и он упал, наконец, грудью на раскаленное, точно сковорода, дно колодца.

Больше Бахтыгул ничего не помнил.

## Глава 4

Пришел он в себя не скоро и сквозь кровавый туман с трудом разглядел Хатшу. За одну ночь она страшно осунулась, постарела. Ее душили рыдания, в горле у нее хрипело, клочотало. Бахтыгул не узнал голоса жены.

Бледный унылый свет лился в юрту через широкую косую щель - дверь была оторвана. Сеял редкий дождь, и у порога стелились зыбкие белесые космы, похожие на конские гривы.

Бахтыгул застонал. Лучше бы ему не видеть этот свет - свет несчастья.

Очаг погас, и Бахтыгул дрожал от холода под тяжелым тулупом. Все тело у него болело, а скулу словно дергали клещами. Хатша, тихо воя от сострадания, смывала с его лица запекшуюся кровь; оно потеряло человеческий облик, - сплошной бугристый багрово-сизый ком. Глаза неправдоподобно вспухли, щека распорота, из нее еще сочились кровь и застывала на дубленой

коже тулупа блестящими черными бусинками.

Бахтыгул с трудом, мыча, повернул голову. Он кого-то искал.

- Нет их... Ушли все, проклятые... - сказала Хатша, всхлипывая.

- Сеит... - выдохнул Бахтыгул.

- Он здесь, он молодец.

Управившись с отцом, насильники взялись за сына. Сальмен сам выпытывал у мальчика, где спрятано мясо. Грозил убить. Сеит не сказал ни слова. Бай исходил злостью, а мальчик смеялся, как дурачок.

Глотая слезы, Хатша рассказывала: рыжая борода зажег факел и пошел рыскать кругом по-собачьи. Он-то и разнюхал, где мясо, - и то, что было подвешено на балке в скотном дворе, скупой недельный запас, и то, что заложено камнями в тайнике. Табунщики опознали по масти шкуру кобылы. И Сальмен велел забрать все, а в придачу - Сивого и корову. Коня -чтобы не было урона байскому табуну, корову - в отместку за оскорбление, а мясо - потому что оно краденое, не оставлять же его вору!

Напоследок рыжая борода и еще двое с факелом подошли к Бахтыгулу. Сели, переглядываясь, прислушиваясь.

Подошел Сальмен, и рыжебородый сказал ему успокоительно:

- Дышит...

- Этому рабу, - сказал Сальмен, - не в юрте - в тюрьме записано испустить дух. Будет мой брат волостным... все вы мои свидетели... составим бумагу, приложим печать... Погонят вора в ссылку, в кандалах, на собаках кататься! Попомните мое слово. - С тем они и ушли.

Бахтыгул смотрел на детей. Бедные несмышленные кутята, опять им голодать. Голодать наравне со щенками старой дворовой суки.

- Что-нибудь хоть осталось... детишкам? - спросил Бахтыгул.

- Ничего... ни крошки, - в голос запричитала Хатша. - Обчистили догола. Видишь, и юрту изуродовали, изверги... Подрубили свод... Он велел, кабан! Да размочит его могилу после скорых похорон!..

Бахтыгул скрипнул зубами и вновь впал в забытие. До полудня он громко бредил и все

спрашивал бога и неких судей, ропща на него и срамя их:

- А!.. Э! Теперь скажите, кто же кого обокрал? Несколько дней, лежа пластом, Бахтыгул думал, ломал себе голову: что же делать?

Он один, и нет у него никаких надежд. Разве в одиночку сквитаешься с козыбаковцами? В их ауле правды не добьешься, - и разговаривать не станут. Гордецы эти живодеры. А иные запуганы, помалкивают. В беде на кого положиться? На родичей. А где они? Не более двух десятков юрт у худосочного рода сары. И те раскиданы по всей округе, не соберешь их в кулак. Кочуют с богатыми родами, служат им, прозябая в нищете и горе. Кому они указчики? Их слушать не будут. Нет среди них ни одного хозяина, который владел бы землицей хоть с ноготь!

И все же Бахтыгул не мог смириться с тем, с чем мирились люди из рода сары. Наверно, он смелей, упрямей других, оттого ему хуже и трудней, чем им. Брат Тектыгул был ягненком, и сожрали его волки. А вот в маленьком строптивом Сейте - душа отца, его нрав. Была бы удача, мог бы Бахтыгул

стать человеком, жить по совести, кормить детей досыта. Слава богу, он и умом не обижен, и язык у него хорошо подвешен. Многое мог бы Бахтыгул... да нет удачи, нет справедливости. И словно заразный неизлечимый недуг, посылает ему бог голод, посылает муку унижения.

Теперь будет совсем худо. Отныне он у Сальмена бельмо на глазу. И то, что было, - цветочки, а каковы-то будут ягодки! Козыбаки постараются, себя превзойдут. За ними власть: свой волостной, свои бии - родовые судьи. Это одна шайка, рука руку моет. И если уж удалось им однажды поймать Бахтыгула с поличным, на его голову свалят все, что было и чего не было, а первым долгом - собственные темные делишки. Проворуется свой - покажут на Бахтыгула. Тогда-то и постигнет его великое горе и срам, ужас, который зовется тюрьмой.

Больше всего на свете боялся Бахтыгул тюрьмы.

Знал Сальмен, чем стращать. Не раз Бахтыгул в рукопашных стычках на барымте видел перед собой лик смерти и не дрогнул, а сейчас дрожал, как в лихорадке. Тюрьма...

Зловонная могильная утроба... Его хотят замуровать живьем. Участь Тектыгула легче.

Уж кто-кто, а Сальмен зря замахиваться не станет. Он доконает неугодника раба, чтобы другим неповадно было, доведет до тюрьмы.

«Куда деваться?» - спрашивал себя Бахтыгул и в отчаянии катался по земле, не стыдясь жены и детей, точно затравленный зверь, попавший в западню.

Хатша считала, что муж опять в бреду, и всей силой души молилась:

- Боже, помоги ему вытерпеть... Не дай ему помереть, боже!..

Был день, когда он вовсе пал духом. Подозвал Хатшу и стал говорить ей лишнее, чего прежде терпеть не мог:

- Нет, жена... сила солому ломит... чего уж там!.. В эту минуту она впервые испугалась за него.

- Неужели некому заступиться?

Он не ответил, задумался. И, видать, что-то надумал! Она сразу это поняла. Больше он не стонал, не бредил. Молчал, ощупывая покрытую ссадинами грудь.

Минула неделя, Бахтыгул поднялся на ноги, и по тому, как он поднялся, Хатша

видела, что не ошиблась в нем. Он вновь собирался в дальнюю дорогу.

Воры козыбаки отняли коня, верного испытанного Сивого, но был у Бахтыгула другой - не хуже, горячий гнедой иноходец, припрятанный до поры до времени в табуне надежного друга соседа.

Конь завидный, стройный, сухой, с широкой грудью и тонкими бабками. В бескрайней степи у самого последнего бездомного пастуха могло быть и два и три коня, но таким владел не каждый бай. Пожалуй, один волостной ездил на настоящем иноходце, под стать Гнедому.

Настал черед оседлать Гнедого. Ранним утром Бахтыгул зарядил древнее кремневое ружье, мазнул маслом рубец на скуле, залепил его паутиной и кивнул на прощание Сеиту, подавшему повод. Гнедой понес Бахтыгула высоко в горы, в неприступные места, выше лесов.

Долго пробирался всадник сквозь низкорослые заросли карачая и колючего шиповника и лишь за полдень выбрался из непролазных дебрей. Перед ним открылись

голые, громоздко уходящие ввысь кроваво-красные скалы.

Глянешь, как они нависают над твоей головой, и невольно ссутулишься. Жутковато к ним подступиться. И кажется, что грех нарушить их царственное вековое молчание. Тут не встретишь ни человека, ни скотины. Красные скалы - исконная обитель дикого, вольного зверя, но охотник забредает в эти места редко. Трудно сюда забраться, еще трудней выбраться.

Бахтыгул тихо подъехал к каменным исполинам, бесшумно спешился, привязал в тенистой расщелине коня, снял с головы лисий малахай, сунул его за пазуху, укрепил на ремне за спиной ружье и полез на кручу. От натуги засочилась кровь из-под рубца на щеке, клейкой соленой струйкой заползла в рот. Бахтыгул облизнулся.

На лысом темени утеса он отдышался, вода боками, как загнанная лошадь.

Ему открылась невидимая снизу обширная серокаменная котловина, а за ней - он знал - ниспадал ступенями осыпной голый спуск, излюбленный козами,

иссеченный вдоль и поперек нитяными, исчезающими в камнях тропами.

Бахтыгул зорко всмотрелся в неподвижную рябь скал. На той стороне котловины, на дикой крутизне, -никого. Все мертво, ничто не шелохнется, не шевельнется. Безглазая немая пустыня... Сколько раз Бахтыгул бесплодно рыскал здесь, ползал, исцарапанный, изодранный каменными когтями, и рад был, что возвращался целым, невредимым! Теперь он не мог уйти с пустыми руками. Ныне его доля - камень и тот переупрямить.

Небо угрюмо и серо, как камни вокруг, и сам Бахтыгул, в сером заплатанном халате, с бескровным серым лицом, худощавый и костистый, похож на камень. Сняв со спины кремневку, он, подобно ящерице, неслышно, неприметно стал красться по гребню котловины. Горы, горы! Подайте хоть вы милостыню бедняку!..

День клонился к закату, когда Бахтыгул подобрался к откосу по ту сторону котловины и ему открылись козьи тропы...

Случается, что везет и невезучему. Прямо под Бахтыгулом на длинном волнистом

скате словно повисли в серокаменном прозрачном тумане три великолепных архара - косматый круторогий козел и его короткохвостые, острокопытные жены. Они только что остановились, повернув головы туда, откуда бежали, настороженные, чуткие, готовые броситься вскачь и исчезнуть прежде, чем ты мигнешь. И было в их собранных косматых телах что-то пружинистое, крылатое.

- Ну, дай бог... - беззвучно прошептал Бахтыгул, высовывая из-под груди ствол кремневки и прикладываясь к ложу.

Он прицелился в самца, но слишком торопился, - руки дрожали, дуло ходило, и зверь заметил его. У робости свой закон - дважды не оглядываться. Едва почуяв неладное, козел порскнул в сторону и, взлетев в гигантском прыжке, легко и быстро понесся вниз по ступенчатому склону. Козы тотчас обогнали его и поскакали впереди, точно блохи.

Тут-то и окрепли руки Бахтыгула, ведя козла на мушке ружья. И когда тот вскочил на высокий валун, зовя за собой коз, из дула вырвалось пламя и сильный треск.

Синеватое облачко медленно расплылось среди камней, и сквозь дым Бахтыгул увидел, как козел на лету кувырнулся через голову.

Не помня себя, Бахтыгул скатился вниз, боясь, что добыча поднимется и уйдет. Архар бился в агонии, лежа на боку. Бахтыгул выхватил нож и полоснул зверю горло. На серые камни хлынула ярко-алая кровь. Козел дернулся и обмяк. Бахтыгул, хрипя, повалился рядом с ним.

Потом он освежевал добычу, выкинул внутренности. Разделил тушу пополам и увязал мясо в шкуру. Круглым путем по ущелью привел Гнедого и с трудом взвалил на него груз, привязал волосяным арканом.

Передохнул Бахтыгул в седле, снова углубившись в заросли карачая. Но путь его лежал не домой...

К вечеру Бахтыгул спустился в тенистую, укрытую от ветров долину. Здесь, на берегу реки, селился богатый аул. Это был аул Жарасбая, волостного управителя соседней, Челкарской волости.

Жарасбай был человеком известным не только в своей волости и не только своим

чином-должностью. Во всем уезде на найдешь управителя, мирзы, ходжи, бая более заметного, чем он. Он славился и как хозяин, и как купец, и как воин, - поистине ему не у кого было занимать ни богатства, ни чести, ни ума.

От этого человека можно было ожидать чего угодно - и хорошего, и дурного, и добра, и зла щедрой рукой, полной горстью, сплеча!

«Попытаю счастья... - думал Бахтыгул, подъезжая к аулу. - Осточертело жить бирюком...»

Как видно, здесь, у реки, Жарасбай собирался зимовать. Многие жители аула, опасаясь осенних заморозков, уже перебрались из юрт в глинобитные зимовья. В вечерних сумерках все высыпали наружу, на свет.

У ворот самого просторного двора Бахтыгул увидел высокого толстяка в куньем треухе и белоснежной мерлушковой шубе. Лицо его багрово-красно, блестит от испарины, но важно и даже величаво. Жарасбай! Он был не старше Бахтыгула годами, а поди дотянись до него... Целая

свита окружала его - два почтенных аксакала, сытый паренек лет семнадцати - сын-первенец и прихлебатели, молодые и старые, точно серые мыши у белого куля с мукой.

Бахтыгул с должным почтением отдал салем. Волостной, бросив взгляд на витые рога архара, ответил милостивым кивком. Для начала неплохо.

Из ворот, неся узкогорлый кумган, вышла байбише - старшая жена бая, дородная бабенка с холеным светлым лицом. Она тоже заинтересовалась круторогой головой красавца козла, залитой кровью, и медленно обошла коня, восхищенно причмокивая. За ней потянулись другие любопытные.

Бахтыгул вежливо поклонился ей.

- Кажется, вам по нраву эта безделица? Нынче утром, едучи в ваш аул, я смекнул: небось давненько у вас не видели дичинки, архарьего мяса... ну, и завернул в горы, да попался больно неказистый... Вез его вам, возьмите, коли не гнушаетесь...

Байбише мельком лукаво покосилась на мужа, как бы спрашивая его и боясь отказа.

Бахтыгул усмехнулся про себя: ей не откажет.

- Прими... Что ж поделаешь... - процедил Жарасбай лениво и добавил, подмигнув окружающим: - Зверь-то из наших гор, - сам бы не отдал, так мы бы отняли!

Все засмеялись. У Бахтыгула отлегло от сердца. Один из аксакалов нетерпеливо взмахнул рукой.

- Где там девки? Пускай унесут...

Бахтыгул догадался, что это Кайранбай, прижимистый, расчетливый старец: он был закадычным дружкой покойного отца Жарасбая, а сейчас заведует всем скотом и считается правой рукой волостного.

- Не думай, Кадиша, - скороговоркой сказал Кайранбай байбише, - что ежели человек опоганил, осрамил козыбаковцев, так все из его рук поганое да срамное! Нечего им гнушаться! Этот бедняк последнего коня отдаст, коли человек ему по душе. Правда, упрям, но говорят, батыры упрямы...

Ободренный, польщенный Бахтыгул низко поклонился ему.

- Спасибо, отец. Что говорить! Ты за меня лучше сказал. Нету меня счастья, хотя я и упрям. Вот пришел к мирзе выложить все, что у меня накипело... Но перед твоей мудростью умолкаю. Ты меня видишь насквозь. Пускай будет, как ты рассудишь.

Сын волостного кликнул двух молодух, и они, сняв тушу с коня, поволокли ее во двор, и великовозрастный сынок, прижав голову архара к животу, стал игриво бодать женщин в спины рогами.

Жарасбай снисходительно следил за этой возней не говоря ни слова Бахтыгулу. Может, он и не хотел унижить его, но волостному не приличествовало кидаться навстречу каждому встречному-поперечному. Не больно важная птица и не бог весть что за подарок!

Зато второй аксакал смотрел на Бахтыгула с сочувствием. Это Сарсен, один из старейших биев волости: Жарасбай неизменно принимал его сторону на выборах судей, ценя многолетний его опыт, а главное - широкие связи.

С волостным Сарсен на равной ноге.

- Бедняга парень... - проговорил Сарсен, поглаживая бороду. - Хорошее намерение - половина дела, а в твоих мыслях, замечая, немало хорошего. Что ж, и прежде бывало: такие, как ты, горемыки, испытав все горести жизни, без памяти бежали из родного аула. Не это ли ты надумал?

- Истинно так, аксакал, - ответил Бахтыгул, углом глаза посматривая на волостного. - Задумал я немалое, нелегкое... А за доброту вашу готов отплатить с лихвой, сколько мочи хватит!

Волостной скупое повел бровью. Наконец, и он обратился к Бахтыгулу:

- С коня говоришь, - похоже, что правду. Послушаем, что скажешь за столом. Входи, упрямец...

Бахтыгул, обрадованный, пошел за баем.

- И впрямь, мирза, не успел я приехать - наболтал полны уши. Да очень уж наболело.

- Э... хорошо... молодец... - дружно загудели приживалы, примечая, как настроен бай.

Вслед за хозяином, строго соблюдая старшинство, они вошли во двор, а затем в его богатый высокий дом.

Не часто доводилось Бахтыгулу бывать в таких домах - за всю жизнь, может быть, разок-другой, и он замялся на пороге. В огромной чистой теплой комнате горела керосиновая лампа, точно солнце. На почетном месте, на недоступном байском торе, - гора стеганых разноцветных одеял. К нему от порога ведет красный ковер. Справа - роскошная, сверкающая никелем русская кровать и над ней, на стене, еще более богатый узорный ковер. Все горит, искрится и играет кругом, как на цветущем лугу весной по росе.

Ступить в такой дом из черной и холодной батрацкой юрты, убранной драными кошмами, было для Бахтыгула редкостной честью, а переночевать в этой неземной благодати казалось счастьем. И когда его усадили рядом с другими гостями перед обильной байской едой, он словно забыл, что голоден, хотя рот его был полон слюной. Ел не жадно, и все видели, чего это ему стоит. Слава богу, байбише не ленилась его угощать. Он с достоинством благодарил и рассказывал, рассказывал... Слова лились сами собой, жгучие, горькие.

Его слушали все с охотой и интересом, будто невесть какую новость или необылицу. Когда же он выговорил страшное слово «тюрьма», байбише вскрикнула, заохала по-бабьи, а старшие мужчины насупились, закачали головами; бий Сарсен схватил себя за бороду. Степняк степняку может пожелать смерти, но не тюрьмы... И Бахтыгул дивился в душе: что за жалостливые баи, понимают, чувствуют несправедливость! Не снится ли ему этот дом, эта еда, это внимание?

- Голый я. Сырый, беззащитный... - говорил Бахтыгул. - Как отбившийся от табуна малолеток. Одна надежда - прибиться к сильному, приткнуться к материнскому соску. Все бы за это отдал, на все согласен!

Байбише и сын бая Жангазы, первые баловни в доме, не дожидаясь старших, стали откровенно поругивать козыбаковцев. И женщина и мальчишка не спускали глаз со знаменитого барымтача Бахтыгула. Такого лестно иметь и слугой и другом.

Бий Сарсен, также упреждая хозяина, сказал:

- Ладно, видим, что у тебя в руках и что за пазухой. Кончай плакаться и хватайся за полу нашего волостного. Держись крепче! Ему такие, как ты, стреляные, рубаные, ловкие да проворные, не боящиеся ни черта, ни бога, нужны... Сумеешь, расстараясь - станешь хозяину братом младшим, а его сыну дядюшкой, родным человеком. Тогда и в ус не дуй! Из-под его руки никакой суд, никакая власть тебя не достанет. Сам белый царь не возьмет ни живым, ни мертвым! А не сегодня, так завтра, бог даст, сведешь счеты со своими недругами, попомнишь зло, покажешь силу.

Бахтыгул слушал, не веря своим ушам. С чего бы такая щедрость? И на что намекает почтенный бий? «Станешь родным... Не сегодня, так завтра...» Бахтыгул знал: козыбаковцы - давние соперники Жарасбая; это два края, два берега, две горы в уезде. Недаром Бахтыгул сюда прибежал. Но неужто Жарасбай будет братом несчастному нищему беглецу? Такого оборота Бахтыгул не ожидал. Судьба сулила ему больше, чем он желал.

Он бежал от ужаса тюрьмы и готов был стать рабом своего спасителя. А ему протягивали руку, как будто и для него в степи существовала честь и справедливость!

Однако Жарасбай не спешил сказать свое слово. Он по-прежнему слушал всех словно безучастно. И нельзя было понять по его высокомерно-насмешливому лицу, что он думает. Хорошо еще, что слушает, не перебивая... И хорошо, если хочет только испытать терпение бедняка. А может, колеблется? Послушает-послушает и отвернется. Не примет и не выгонит...

В тот вечер Бахтыгул так и не дождался, что скажет бай. Пошучивая, посмеиваясь, волостной пошел спать, отпустив с миром гостей и приживалов, коротко кивнув Бахтыгулу, как при встрече. И все разошлись радостные: бай доволен, весел, у него хорошее настроение.

С раннего утра ко двору волостного стали стекаться просители. Их было много. Бахтыгул оседлал Гнедого и стал в сторонке, показывая, что готов уехать, готов остаться, - как велят. После утреннего чая вышел волостной. «Поддай хоть надежду...» - молил

взгляд Бахтыгула. Жарасбай прошел мимо, не замечая его. Но Бахтыгул подождал, когда он отошлет других, и опять появился у него на виду

- Чего ты хочешь, милый человек? - спросил волостной, устало отдуваясь.

Бахтыгул выпрямился, подошел.

- Клянусь служить тебе до гроба! Посылай куда вздумаешь. Требуй чего угодно. Буду тебе братом младшим, а твоему сыну - дядюшкой... Разве не так сказал седобородый Сарсен?

- Об этом достаточно говорено, - сухо ответил Жарасбай. - И клятву твою я запомню. Но придется... повременить, пока заглохнут слухи, утихнет шум. Сейчас негоже мне связываться с козыбаками, путаться по мелочам. Приспеет время, я тебя сам позову, спать не дам! Посмотрим, как держишь клятву... А пока что не чурайся нас, наезжай почаще. Ты моим понравился, поможешь им по хозяйству, они найдут тебе занятие. Потом я пристрою тебя как должно. Ступай.

Бахтыгул так обрадовался, что не мог найти слов благодари ости.

- Дорогой... добрый болыс... Больше отца родного... Думал - отвернешься... Прости на смелом слове... - Он дернул за повод иноходца. Конь вскинул гордую голову. - Позволь за твою ласку, за твой привет... Перед богом не могу тебе не ответить... Хочу посадить на этого коня сына твоего Жангазы! Раз мы не чужие, пускай берет Гнедого, пускай владеет...

Волостной промолчал, не соглашаясь и не возражая, но глядел одобрительно, и Бахтыгул поспешил удалиться, громко зовя Жангазы. Конь ветроногий, редкостный. Тем приятней его дарить.

Байский сын, подобно своему отцу, не стал отказываться и не стал благодарить, но видно было, что парень очень доволен. Ничего не скажешь - недоросль, игрив, дурашлив, а соображает в лошадях!

Байбише проводила Бахтыгула в дорогу тоже не с пустыми руками - наложила ему жирной, с чесноком, домашней колбаски, сама выбрала несколько крупных кусков вкусной жеребятины. Бахтыгул вернулся домой обласканный, счастливый.

Спустя два дня к нему в юрту вошел Жангазы, посидел, поговорил, передал привет от отца, затем вышел, отвязал Гнедого, вскочил на него и уехал в свой аул. Иноходец шел под ним хорошо, парил, как сокол.

## Глава 5

Началась странная, непривычно легкая жизнь.

В первую зиму волостной придерживал Бахтыгула в тени, не подпускал к своей канцелярии. Разумеется, Бахтыгул не сидел сложа руки, но жил не впроголодь, жил не униженный. И слава его, давнишняя и нерадостная, стала понемногу уходить в забвение.

На крупных советах, собирая аткаминеров волости - заправил и воротил родов, байскую знать, «верховых среди пеших», - Жарасбай исподтишка похваливал нового

слугу, рассказывал о его горестях и злоключениях, о его терпении. Сарсен и Кайранбай в два голоса подхватывали эту песенку и хвалили волостного за богоугодное дело. Не сглазить бы, обратил ночного добытчика в мирного труженика, влил в обозленное, ожесточенное сердце добро и смирение.

- На правильном пути... человеком становится...

Аткаминеры, тучные, как их стада, спесивые, как их роды, со вниманием присматривались к беглому батраку. Почтенные люди похлопывали его по плечу, беседовали с ним. И кто умел понимать, понимал: у Жарасбая на этого молодца особые виды.

А Бахтыгул не находил себе места, изнывая от безделья. Легкая жизнь была ему трудна - беркут любит выси, скакун любит гон. Изо всех сил старался он послужить аулу Жарасбая. За что ни брался, и то, и другое, и третье делал с завидным умением, хотя как будто бы, кроме ухода за скотом, ничего в жизни не знал. Но разве суетня в ауле - работа? И разве тут нужна его сила? С тем и бабы справятся.

С восхода до заката Бахтыгул бегал, хлопотал, мотался по аулу, точно язык в пасти собаки в знойный день, что-то чинил, чистил, таскал, ворочал, неутомимо ища себе занятие, словно гоняясь за усталостью. И зоркий Кайранбай, видя его рабочий азарт и хозяйское радение, совсем растаял - улыбка расплывалась по его щекам, как круги по растопленному бараньему жиру. Сладостное это зрелище - наблюдать, как на тебя гнут спину и льют пот.

- Дело у него в руках горит. На все мастер. И в счете не дурак! Не обсчитаешь...  
- говорил Кайранбай волостному.

- Бедняга, сирота, истинно по немилости божьей нет у него достатка. А не то разве к такому работяге пристала бы бедность? - внушал Кайранбай другим.

В любой работе по хозяйству - в отгоне табунов и откормке баранов, в весеннем севе и уборке урожая по осени - Бахтыгул знал толк. Требовалось ли отыскать непотравленные выпасы, заготовить ко времени сено, оберегаясь джута, или испечь к случаю белый хлеб - за все он брался и все

делал быстрее и лучше, чем иные табунщики, чабаны и пекари.

Был слугой, стал помощником, а затем советчиком, и не только в доме волостного, не одной байбише, а и всем соседям. К нему не стеснялись ходить за советом - по хозяйству, по семейным делам; он мирил, наставлял, урезонивал, хоть был и не стар. И со временем прозвали его в ауле «Дальновидным».

Волостной постепенно приближал его к своей канцелярии. Одно поручение, другое... Бахтыгул снова сел на коня, но не с пастушьим соилом, а с сумой посыльного через плечо - метой доверия и власти. И теперь он сам себя не узнавал.

Между делом Бахтыгул не забывал и о себе. Разъезжая по волости с полной сумой важных, исписанных чернилами и меченных печатью бумаг, он прихватывал с собой кое-какой товаришко и с выгодой перепродавал его желающим купить, и многие ждали, когда он придет, интересовались, что привезет. Весной Бахтыгул запахал для себя землицы втрое, а то и вчетверо больше, чем

прежде, и Жарасбай ему ни слова не сказал; Кайранбай позволил взять семян.

Как и у Сальмена, ему не платили жалованья, но Жарасбай, по крайней мере, не бил его, давал жить. Хатша припасла впрок на будущую зиму и мяса, и муки, и масла, и белой соли, и желтых серных спичек, точно таких, как в доме бая, и крепких ниток. Она сама прирабатывала в ауле волостного, прислуживала байбише и к лету заметно подкормилась, даже приоделась. Обноски с байского плеча были для нее нарядом, а свою старую одежду она перешила детям, и они больше не бегали голышом, в рванье.

Еще зимой Жарасбай сказал Бахтыгулу:

- Хочешь, чтобы сын был грамотен?

Приведи парнишку.

Это было великой милостью.

В ауле волостного жил молоденький казах Жунус. Он окончил русскую школу, и за грамотность его звали муллой. Он учил грамоте двух-трех мальчиков из зажиточных семей, учил и сына волостного, Жангазы. Бахтыгул с благоговением привел к мулле своего Сеита.

- Пойдешь в волость, будешь учиться, выбьешься в люди, - сказал сыну Бахтыгул, и Сеит крепко запомнил эти удивительные слова.

Всю зиму Сеит твердил русскую азбуку, упорно зубрил ее, точно колдовской наговор, который помогает выбиться в люди. Ему нравилось учиться, и он быстро превзошел ленивых, балованных, туповатых байских сынков.

Мулла с любовью говорил Сеиту:

- Подрастешь, будешь муллой.

И часто ночами Сеит подолгу не мог уснуть - мечтал, как подрастет и будет муллой.

Посевы Бахтыгула взошли густые, чистые. Душа батрака обретала покой. Летом он окончательно перебрался в аул Жарасбая, ставший ему родным. Жаркую пору прожил с сыном на джайляу, высоко в горах, и досыта попил пенистого золотистого кумыса.

Летом забот по хозяйству убавилось. Волостной взял Бахтыгула целиком под свою руку. И потекли дни особой загадочной суеты, за которой стояли большие дела Жарасбая.

Бахтыгул быстро освоился с хозяйской наукой: держаться по чину - приветливо и учтиво в аулах, которым волостной покровительствовал, и, наоборот, угрожающе и драчливо там, где волостного не особо жаловали. Иногда волостной позволял ему выступить на маленьких аульных сходках - Бахтыгул был красноречив. Был предан и расторопен, пока не почувствовал неладное. Он заметил, что люди посматривают на него, как прежде он сам смотрел на подручных Сальмена. И сразу стало темно на душе у батрака.

Сальмен пока не давал о себе знать. Почти год пролетел, но Жарасбай не вспоминал о Сальмене. Бахтыгул старался постичь, что же на уме у волостного, и чем больше задумывался, тем больше мрачнел. Обманчив был этот мир, подозрительно молчание.

Осенью предстояли выборы, и еще с начала года в Челкаре, в Бургене и в других волостях завязалась подспудная запутанная борьба родовых партий. Из месяца в месяц она становилась острее и откровенней.

«С этого двора не жди добра...» - замечал себе Бахтыгул Дальновидный, но никак не

мог предвидеть, в каком обличье его настигнет беда.

Страсти разгорались неуловимо и непостижимо для простого смертного, давно уже вышли за пределы волостей и охватили едва ли не половину громадного уезда. Схватились сильные богатые роды, бии и аткаминеры смежных волостей, сводя старые счеты, раздувая неразрешенные споры.

Слабые искали опекунов, сильные - союзников. Чем ближе выборы, тем ясней обозначались две большие межволостные силы; одну возглавлял челкарский болыс Жарасбай, другую - бургенский голова Сат, брат Сальмена, и у обоих были тайные агенты, подкупленные люди в лагере противника.

В своей волости Сат был, казалось бы, сильней и крепче, нежели Жарасбай в Челкаре. За Сатом стоял многочисленный и сплоченный чванливый род козыбаков. За Жарасбаем стояли два-три рода, богатые, влиятельные, но разве сыщешь в степи два рода, меж которыми нет трений? Зато в уезде у лукавого Жарасбая гораздо больше связей, чем у самоуверенного Сата, больше,

чем у всех других волостных, и Жарасбай держал вожжи в своих руках.

Борьба разгоралась подобно степному пожару в засушливое лето.

Летели в уезд, в канцелярию ояза, всевластного уездного начальника, русского чиновника со светлыми пуговицами, коварные доносы, «приговоры» с множеством подписей и родовыми тамгами - клеймами-печатами биев и аткаминеров.

Аткаминеры Сата изощрялись в жалобах на самоуправство Жарасбая. Каждая подводила его под следствие, под позорный и накладный штраф. Но всякий раз Жарасбай торжественно возвращался из города оправданным. А вот Сату в городе пришлось туго. По навету Жарасбая отсидел Сат пятнадцать суток в уездной каталажке. Один аллах знает, сколько Жарасбай вложил в это дельце хитрости, сколько денег, однако дельце того стоило.

Повсюду говорили:

- Сам вернулся белым, как звезда во лбу вороного... А того засадил в навоз с головой, как мотыгу под корешок... Пятнадцать дней и ночей - ой-бой!

После этой удачи у Жарасбая стало больше сторонников, больше и противников. Где страх, там и зависть.

Без передышки метались по кочевьям аткаминеры, где улещая, где угрожая. Жаркое, знойное выдалось лето, как говорится, некогда попить кумыса. Выборы, выборы... Власть на три года!

Жарасбай упорно выискивал слабинку в лагере Сата, собирая вокруг себя недовольных, обделенных, колеблющихся и просто блудливых, щедро награждал их, раздавал деньги и скот направо и налево. Он знал, что и Сат поступает так же, и зорко следил за своими, обхаживал подозрительных, платил им больше, чем Сат. Власть на три года! Все окупится с лихвой.

Шло время, и неясно было, на чьей стороне перевес. Сат не сомневался в своих козыбаках, а те храбрились, высмеивали хлопоты Жарасбая, его бесконечные траты.

- В городе он беркут, в волости - воробей. Мы собьем с челкарцев спесь... - так говорили козыбаки, и Бахтыгул чуял, чем это в конце концов обернется.

И вот, когда жарасбаевский табун перекочевал на джайляу, в суматохе пропали три жеребые кобылы и откормленный жеребенок. Кинулись их искать и попали на воровской след. Верный человек, соглядатай из Бургеня, подсказал: лошадей увели люди Сальмена по указу Сата. Погоня пришла по пятам похитителей. Люди Жарасбая потребовали вернуть лошадей, но Сальмен без зазрения совести матерно обругал их и с улюлюканьем выгнал из аула.

Жарасбай не спал ночь - его душила ярость. А на рассвете, не мешкая, велел Сарсену составить донос и отправил бумагу в город. Бахтыгул ожидал, что волостной пошлет его нарочным, но бай не вспомнил о нем, и Бахтыгул с недоумением и обидой расседлал коня. Все утро близ восьмиканатной байской юрты теснились люди, а из нее доносился шумный говор. Там спорили, бранились, грозились аксакалы.

И только в полдень, когда почтенные белобородые разошлись и, укрывшись от зноя в тени юрт, потягивали прохладный,

освежающий кумыс, Жарасбай позвал Бахтыгула к себе.

Нехорошее предчувствие сжало сердце Бахтыгула, едва он увидел распаленное, покрытое бурыми пятнами лицо волостного. По правую руку хозяина стоял, насупясь, поигрывая плетью, самый дюжий из баев угрюмый, черный Кокыш.

Жарасбай усадил Бахтыгула, налил ему кумыса и, прихлебывая из тонкой пиалы, начал с того, что Бахтыгулу благодаря богу недурно жилось последний год - целый год, как все знают и все видели. Бай не позволял отягощать его черной работой, оберегал для дел, достойных настоящего мужчины. И Бахтыгул почувствовал: кончилась его странно покойная, непривычно легкая жизнь.

- Эти шакалы шелудивые не подождут хвоста, пока не поднимешь палку... - добавил Жарасбай.

Кокыш сплюнул, хлестнув себя по сапогу плетью, и рука Бахтыгула дрогнула, расплескивая кумыс.

Батрак понял: случилось самое страшное - старое проклятье догнало его.

- Будем сидеть смиренно - проиграем, - продолжал волостной. - Заезаемся - сядут нам на шею с рогатиной, а нашей скотине - с арканом. Людей забьют, коней уведут. Свои же с головой за грош продадут... Видно, дожили мы с тобой, Бахтыгул, до часа, которого год ждали.

Бахтыгул молчал.

- Нынче же отбери по своему вкусу десяток надежных джигитов и - с богом! Не сыщешь Сальме-новых или Сатовых табунов, все равно, налетай на любых козыбаков. Отбей и угони косяк кобылиц с жеребцом постатней да попородистей. Ты выбрать сумеешь... не впервой...

Бахтыгул опять промолчал, оставив пиалу с недопитым кумысом, обтирая ладонь о халат. Казалось, ком застрял у него в горле. «Час, которого год ждали...» Что же это? Давно ли Жарасбай показывал Бахтыгула баям и аткаминарам, точно прирученного зверя, и те возносили бая, а батраки трепали по плечу, внушали ему, что есть праведный путь! Когда это было? Вчера. А ныне - «с богом»?.. Что скажут люди? И что же сказать сыну Сеиту?

Кокыш присел на корточки против Бахтыгула и засмеялся, надувая бычью шею.

- Да ты что? Обабился на байских хлебах? Батыр на такое дело из гроба встанет!

Но Бахтыгул не улыбнулся, и Жарасбай сказал, подлив ему кумыса:

- Сат первый начал, как тебе известно и всем ведомо. Не было б почина, не было б и торга. Они замарали руки ночной кражей, мы омываем лицо честной барымтой! И уж отныне, куда бы эти ворюги ни сунулись, хоть к губернатору, всякий будет на нашей стороне - и казах, и русский... Понял ты меня?

- Нет, болыс... не понял. Мутится у меня в голове, - глухо, тоскливо ответил Бахтыгул. - Знаю одно: осень на носу, а этой осенью и вору и барымтачу рядом висеть между небом и землей на деревянном коне... Натерпелся я лиха, сыт им по горло. Не посылай меня, прошу!

Жарасбай с раздраженьем перебил его:

- С каких это пор ты стал оглядываться на деревянного коня? Ишь ты, Дальновидный!.. Забыл свой долг? Не

слышишь голоса предков? Сат разорил твоего отца, Сальмен осиротил тебя, я даю тебе силу против Сата и Сальмена. Если упустишь такой случай, ты трус и предатель, безрукий, безмозглый ленивец, которого я зря кормил!

- Чему ты меня учишь, хозяин? - проговорил Бахтыгул подавленно. - Какой пример подам сыну?

Жарасбай исподтишка усмехнулся.

- На мне ответ за все! И перед земной и перед небесной властью. Я кормлю, я и велю. Моя воля - мой грех. Езжай и уповай на бога...

- Хватит, поговорили, - добавил Кокыш. - Не сомневайся, поедет.

Жарасбай грузно поднялся с места. Бахтыгул рванулся, чтобы встать раньше бая, и замер на коленях, растерянный, оглушенный.

## Глава 6

В тот же день десятеро во главе с Бахтыгулом отобрали десять лучших коней, длиннохвостых, ветроногих жеребцов из

табунов Жарасбая, Сарсена и Кокыша. Сборов не таили, потому что шли на «праведную» барымту, и к вечеру проводить молодцов вышли все жители аула от мала до велика.

Джигиты были одеты скромно, в серые чекмени, но не одежда красит мужчину, а сила и статный конь. Собрались видные парни. Чекмени туго обтягивали их литые плечи. Посмотришь - кулаком камень расплющит, а на ногу быстр и ловок, как ласточка на лету. Перебрасываясь озорными, грубоватыми шуточками, барымтачи словно играли в веселую, забавную игру, красуясь перед народом, показывая себя и коней. Кони - загляденье. Под низкими, плоскими седлами, с коротко подвязанными хвостами жеребцы гордо держали сухие головы, нервно перебирая тонкими ногами. Это победители скачек, именитые скакуны. В мягком свете вечерней зари их чистая холеная шерсть поблескивала, как парча. Они не стояли на месте, вертелись под всадниками; и над аулом висел частый легкий и гулкий топот, подобно дроби боевых барабанов.

Ждали Бахтыгула. Он вышел из Большой юрты, напутствуемый волостным и словно преображенный. Одет тоже просто, неприметно - это всем понравилось. Но в осанке и повадке что-то новое, прежде невиданное. Чекмень натянут на одно левое плечо, правый свободный рукав заткнут за пояс, чтобы было вольготно разойтись плечу, размахнуться руке. Из-за пояса кушака торчит револьвер-шестизарядка. Стрелять из него в человека Бахтыгул не будет, но по этой игрушке видать, кто атаман, кто первый ударит и примет первый удар, натиск сильнейшего, себе подобного.

Валко, неспешно шагал Бахтыгул к товарищам, и они не спускали с него глаз. С ним не пропадешь. Он крепче и крупней всех других. В правой его руке в круглых мускулах от кисти до плеча переливается пружинистая взрывная сила.

И лицом Бахтыгул вроде бы не тот. В прищуренных, узеньких щелочках глаз искрится жадная нетерпеливая страсть. Лишь под колючими усами неожиданно мягкая улыбка, словно бы мечтательная.

- Эй, орлы! - отрывисто, властно окликнул он. - Удачи вам в пути! - И голос его зазвенел в общем молчании сквозь топот копыт.

- Всем удачи, всем!.. - дружно ответили джигиты.

- Да будет так, да будет так! - подхватили провожающие.

Прежде чем Бахтыгул подошел к туго натянутому аркану, служившему коновязью, молодой пастух повел ему навстречу и поставил поперек дороги крупного, рослого светло-рыжего коня с подвязанным хвостом. В красных лучах заката конь походил на пламя большого костра. Это любимец волостного; Жарасбай держал его для байги - степных многоверстных скачек.

Пастух собирался почтительно подсадить атамана, но тот, сунув конец повода себе за пояс, едва коснувшись носком стремени, взлетел в седло; конь, приседая, боком отпрянул шагов на пять в сторону.

- А ну, трогай, - скомандовал Бахтыгул, пришпорив. Всадники, теснясь, устремились за ним, на ходу

прилаживая к седлам соилы и шокпары. А некоторые поехали, небрежно держа дубинки под мышкой, будто не в драку - на прогулку.

Мужчины, женщины, детишки аула повалили за ними толпой, гомоня, визжа, ахая. Пошла в степь сила, удаль, мужская краса! Разгуляется она - дьявола сомнет и растопчет...

В сумерках смутно замелькали крупы коней светлой масти, слились в темное пятно и растаяли вдали, но еще долго слышали в ауле тающий волнистый гул лихого галопа.

Так началась барымта, которую простаки и хитрецы называли «праведной». Баи тешили ею древнюю спесь, бедняки утоляли вековую жажду воли. Одним доставалось палицей по башке, другим - даровой скот. Каждому свое, что назначено безликим всевышним судьей, бием над всеми биями.

К рассвету Бахтыгул и его орлы управились с делом - угнали у Сата небольшой косяк, десять молодых кобылиц с приметным гривастым жеребцом. От погони ушли на диво легко, хотя слышали за собой стрельбу из ружей. Невредимые, укрылись в

безлюдных, безмолвных горах на рубеже трех волостей.

Попутно в незнакомом ауле прихватили годовалого ягненка, оставляя за собой лишь лай собак. На камнях без опаски развели огонь. Бахтыгул велел сварить мясо, а сам ушел вверх по голой шершавой осыпи.

Впереди одиноко маячила острогрудая, кирпично-красная, словно окровавленная, скала. За ней, подобно кабаньему загривку, щетинился хвойный лес. Могучие густые ели чернели, как обожженные, и над ними висело синеватое мерцающее дымчатое марево. А еще выше, будто выхваченная солнцем из ночи, сияла круглая снежная вершина - недоступная, почетная белая юрта. Орел парил в бездонном небе; он казался величиной с воробья.

Бахтыгул смотрел ввысь, на красную скалу, на черный лес, на белую снеговую юрту, парящего орла, и грудь его теснило. Смотрел и думал: «От чего ушел, к тому и пришел, вот и все, что нашел!»

Снизу от костра винтом поднимался прозрачный дымок, пахло мясным варевом, джигиты болтали, как бабы, возились, как подростки, шуршал под их ногами неверный

сыпучий камень. Бахтыгул морщился, покусывая жесткий ус.

Азарт ночного налета испарился, словно хмельной угар. На душе остался горький чад.

- Эх... все равно... Бари-бир! - вслух выговорил Бахтыгул.

Прославят ли, ославят ли его теперь - все равно. Судьба его в руках Жарасбая. Баю казнить, баю миловать. Слава богу, что этот все-таки не пара Сальмену Жарасбай не забудет, что ты служил ему преданно и усердно.

- И того предовольно с нас, сынок, - прошептал Бахтыгул. - На том и порешим... - И пошел назад по осыпи, к костру.

Так началась барымта. С той удачливой и роковой ночи поднялась между родами и родовыми партиями такая заваруха, какой еще не бывало. И безглазой ночью, и при свете дня, в степи и в горах - дикие свалки и драки, бешеный, ошалелый крик погонь, кровь и черная обжигающая пыль до знойного неба. А за бранным шумом набегов, как и в былые времена, тихой сапой подкралось, расплзлось по аулам и

пастбищам воровство. И вскоре ни один праведник и пророк не смог бы здраво рассудить, где барымта, а где кража, что денной грабеж, что полуночный.

Правду говорят, что выборы в степи подобны джуту. Не предскажешь, когда тебя ударит джут, степное зимнее лихо. А выборы каждые три года! Но Жарасбай, видно, решил либо взять верх, либо разориться.

По-прежнему, что ни день, у него многолюдный сход, шумливые сборы-советы, гости, гости... Без числа и счета шла скотина под нож - на угощение, шла под аркан - на подарки. А сколько утекло из байского рукава длинной денги! За месяц-другой, почитай, одну треть того, что имел весной, истратил Жарасбай. И теперь он не давал Бахтыгулу и его молодцам прохладиться так же, как некогда Сальмен. Но этот лукавый, по крайней мере, говорил, что посылает брать не затем, чтобы восполнить расходы, а в отместку. Красиво говорил, право!

Не удивительно, что хитрец преуспел - нашел крепкую подпору, сильного союзника

за спиной Сата. Неожиданно Жарасбай сдружился с аулом досаев из

Бургенской волости, могущественным аулом толстых, которым нахальные козыбаки были не по нутру. И это повлекло за собой особые траты и издержки.

Мудрецы бий, прожженные степные политики, так говорят: текучую воду умеряет дерн, кипучую вражду усмиряет девица. Да, да, девка на выданье... Была у головы рода досаев молоденькая смазливая дочка Калыш, и заслал Жарасбай к досаям сватов.

Бахтыгул живо смекнул, в чем тут соль. Конечно, может, и позарился Жарасбай на девичью красу, захотел привести в дом, к своей возлюбленной байбише, молодуху-токал. Но это дело десятое. А соль в том, что выбрал Жарасбай самолично пятьдесят верблюдов и послал их отцу девицы. Калым неслыханный, будто ханскую дочь сватали. И еще до того были родителям предварительные подарки.

Истинно, что сватовство - лучший союз, он скрепляется скотом, это крепость надежней клятвы на крови. Вот почему

сплелись аулы жениха и невесты навек, как кишки в животе, и Сату осталось кусать себе локти - аул досаев стал на его пути, точно щетина саксаула: не пролезешь и не объедешь.

А степь стонала, точно женщина, над которой надругались. То тут, то там попадались барымтачам под горячую руку и страдали безвинно, ни за что ни про что бедняки, которым было не до Сата и не до Жарасбая. Тщетно лились слезы, сыпались проклятья. Сказано: джут!

Жарасбай поставил дело на широкую ногу. Угнанный скот он сбывал на сторону и в своем и в соседнем уезде с чисто купеческим размахом. Бахтыгул пригонял, Кайранбай загонял... Тот добывал, этот сбывал - не торгуясь, за полцены, лишь бы с рук долой, поскорей да поглаже. И не прогадывали! Скупец и жадюга Сальмен никогда так не умел. Скотина валилась, как в прорву, - ночью являлась, к утру исчезала, и мошна у Жарасбая не тощала.

Бахтыгул махнул на все рукой. Жил точно в кровавом горячем тумане, точно в пыльной степной буре, когда среди бела дня

ни зги не видать. Куда девался скот, взятый в набегах, он не ведал. Жарасбай позаботился, чтобы на этот счет душа атамана была покойна. Строго-настрого приказал Сарсену, Кайранбаю и Кокышу:

- Когда вы бдите, пусть он спит!.. Паче чаяния придется обгореть кочерге в очаге, пусть и под пыткой не сможет сказать наш Дальновидный, что куда, что к чему.

Грянули выборы. Жарасбай выиграл - остался в Челкаре управителем. Сат провалился - его не избрали. Правда, и аул досаев не протащил в Бургене своего ставленника, но козыбаки были биты. Не зря тратился Жарасбай. Пришел его черед стричь долгошерстную, золоторунную овечку власти и в своей волости, и в уезде.

Тотчас он призвал пред свои очи Бахтыгула, принял его поздравления и, милостиво похлопав по спине, отослал домой.

- Ступай, отсыпайся. Порадуй жену, сына. Даю тебе полную волю хоть на три года подряд, до будущих выборов...

Бахтыгул вздохнул с нескрываемым облегчением. Ему хотелось поскорее уйти с

глаз хозяина, и тому хотелось, чтобы он убрался подальше.

- Моя воля - твоя воля, дорогой болыс, - сказал батрак вежливо.

- Ступай, ступай... Там видно будет, - небрежно ответил державный бай.

## Глава 7

Подошла черная осень. Бахтыгул уехал в свое зимовье, взял сына с собой. Посадил на коня и увез. Лишь изредка навещивался Бахтыгул в аул волостного - отдать хозяину должное, поприветствовать его, погостив денек-другой, уезжал с легким сердцем. Домой, к семейному теплу! В эти дни он казался в ауле посторонним - от хозяйства и от канцелярии отошел, ни тем, ни другим не интересовался. Жил словно сам по себе, не вникая в людские разговоры, не прислушиваясь к молве. И потому толком не знал, что творится на белом свете, то есть в партии волостного. Помнил одно: враг у них общий - козыбаки... Это помнил крепко, а обо всем прочем - не ему думать.

И когда внезапно прилетел на взмыленном коне гонец, крича с седла: «Зовет тебя Жарасбай!..» -Бахтыгул не особенно взволновался, поехал следом.

В ауле собрались все верховоды волости и... кое-кто со стороны. Спутав своих коней и пустив их пастись, приезжие расселись вокруг волостного управителя. Чуть поодаль от других Бахтыгул увидел людей из аула оразов, соседней Бургенской волости.

Род оразов был в Бургене слабей рода досаев, сватов Жарасбая, и намного слабей козыбаков, но пока сильные душили друг друга, оразы провели своего человека в волостные. И так получилось, что после выборов стал новый бургенский волостной угоден проигравшему Сату. Само собой понятно: слабо-родный волостной не мог быть совсем самостоятелен и стал ходить в узде козыбаков.

Увидев оразов, Бахтыгул подумал: «Видать, по их жалобе позвали». И не ошибся. В пору барымты его люди прихватывали скот и у этих, поскольку они бургенские... Ошибся Бахтыгул в другом. Жарасбай встретил его холодно. Приветствие его принял нехотя, словно бы

через силу. И, порядком не расспросив, как полагается после приветствия, набросился будто на чужого, со строгими речами:

- Эй, Бахтыгул... Меры не знаешь! Лишку хватил, право. Я тебе верил и всех заверял, что ты носа в грязь не сунешь, а ты и меня мараешь, выходит дело, пока я за тебя распинаюсь. За что же мне такое наказание? Объясни, по крайней мере...

Так еще никогда не говорил с Бахтыгулом Жарасбай. Волостной стонал от благородного гнева, лицо распалено. С жаром праведника бай выгораживал свою голову, требуя у слуги чистосердечного признания. Бахтыгул слушал, пораженный тем, как он, оказывается, виноват перед своим благодетелем.

- А в чем же моя вина, дорогой болыс? Вон вы как разгорячились! Неужто других слов не нашли для меня? Сперва укажите, в чем преступление, а там казните без сожаления. Обидно слушать клевету, сочиненную злым языком. Проверьте сначала, дознайтесь...

- Нечего мне дознаваться! И так вижу, что ты... кроме тебя, некому... твоя это

рука... Говори правду: в ауле оразов в Бургенской волости ты взял одного гнедого, одного чалого жеребца и двух маток-кобыл? Ты взял... Возмести взятое! - грозно повелел волостной.

Бахтыгул молчал, приглядываясь к нему. Взять-то, может, и взял... Что правда, то правда... Бахтыгул не собирался отпираться, врать в глаза. Ну и волостному нечего валять дурачка, - кони эти уведены у оразов по его указке, и тому здесь много свидетелей. Но они тоже молчали, присматриваясь к Бахтыгулу

Неужто отступился, отвернулся волостной от своего атамана? Быть не может!

Это он для вида... перед чужими... чтобы пустить пыль в глаза... Баю видней, что делать, как сказать, и не следует сейчас с ним препираться, мешать его игре. Небось у него дальний прицел, тонкий расчет.

- Что же, я и прежде не крутил и теперь не увиливаю, - сказал Бахтыгул Дальновидный. - Все твое, волостной, и животы наши, и жизни. Мне ли противу тебя? Ты мне один судья, а тебе судья бог!

Взял я коней. Сделай, что только сможешь придумать, но чтобы оразам было возмещено все сполна. Больше мне нечего сказать.

И разом словно ожили белобородые и чернобородые, зашевелились, заерзали на месте, качая бородами, щуря глаза, грозя пальцами. Понравилась речь батрака. Покорность и власть любят друг друга.

Опять слышалась хвала пронизательности и справедливости волостного. Кто-то сказал о Вахты гуле:

- Ни шиша за душой, а храбр, как хан. Помрет, но правду скажет.

Другой сказал:

- Случись убить человека - убьет, от хозяина не скроет. Ежели уж взял, говорит, взял... - И это была также похвала волостному.

В ту минуту и Бахтыгул радовался, что хозяину лестно.

Одного он не мог понять. Осмотревшись, он увидел рядом с жалобщиками оразами людей из аула досаев... Бахтыгул не поверил своим глазам. Как же так? Целое лето враждовали непримиримо, а нынче вот

слетелись, точно птенцы в родное гнездо, и сели тесно, сели, как говорится, сомкнув колени, и незаметно было, что меж ними нет довольства и согласия.

Здесь судили своего, Бахтыгула. Хоть он и повинился напрямик, не вилял, голос волостного не смягчился, а лик не потеплел. Теперь Жарасбай бранился злобно, крикливо, а под конец пригрозил:

- Наперед от меня поблажки не жди! Я тебя обласкал, приблизил к сердцу своему, почитал своим - за что? За честность. Ежели еще оступишься, сунешься с пути истинного на один шаг, с того самого шага ты для меня никто, и я тебе чужой. Трижды подумай, прежде чем шагнуть...

«Ну, это уж слишком!» - подумал Бахтыгул, но и тут промолчал.

Притихли и другие, словно обвороженные и покоренные голосом волостного, его негодующим и благородным звучанием, его басовыми раскатами.

Очень красивый голос, истинно дар божий, как раз такой должно иметь блюстителю правды и чести.

Бай указал на старшего из оразов.

- Сейчас этот человек, хозяин угнанного тобой скота, пойдет за тобой. Ты поведешь его в свой дом и из своих рук отдашь в его руки четырех полноценных коней, не хуже тех, которых взял («А где они - те?..» - мелькнуло в голове Бахтыгула). И еще в уплату за свою вину преподнесешь одного коня - возглавить и одного верблюда - замкнуть возмещение... Вот так будет достойно и по совести!

Бахтыгул открыл было рот и застыл, ошарашенный. Казалось, его треснули дубинкой по затылку. Все кругом молчали, будто воды в рот набрав. Стало быть, и они поражены...

Знает бай, хорошо знает, сколько и какого скота накопил Бахтыгул. Знает и велит отдать больше половины,.. И верблюда велит отдать!

Нет, конечно, Жарасбай вернет потом с лихвой взятое у Бахтыгула. Как же иначе! Позовет болыс и утешит - при своих, без посторонних. Одарит послушного раба и скотом, и добрым словом, чтобы не было потери и обиды ни хозяйству, ни душе, чтобы было достойно и по совести.

Так думал Бахтыгул, ведя за собой людей из рода ораз и еще аксакала Сарсена, посланного проверить, точно ли выполнена воля волостного.

Но прошел день, другой, третий, а волостной не звал Бахтыгула. Волостному было недосуг. Очень много важных, неотложных дел. Запомнил бай про Бахтыгула. В один миг разорил и насмерть обидел преданного друга в угоду лютым своим врагам... взял и растоптал... и даже не оглянулся на растоптанного! Зачем так?

Бахтыгул недоумевал. Хатша ходила с заплаканным, потемневшим лицом. Сеит смотрел на отца непонятным, не то задумчивым, не то равнодушным взглядом. Изредка мальчик тихо смеялся своим тайным мыслям, и это пугало и сердило Бахтыгула.

Измученный догадками, Бахтыгул кинулся к соседям, друзьям в окрестные аулы, - поделиться наболевшим, посоветоваться, осмотреться и понять, как жить дальше. Но его встречали с опаской. Голова кружилась от рассказней, басен и слухов, - до седых волос в них не

разобраться. И опять, как после гибели брата Тектыгула, он почувствовал себя отставшим от каравана, брошенным в пустыне, заблудившимся безысходно и безнадежно. Опять, подобно каменно-бездушной стене, перед ним вставала его сиротская доля. Все люди, весь мир по ту сторону стены, он один, как отсеченный палец, как вырванный волос.

Летняя разгульная барымта была пиром... Осенью пришло похмелье, но не для жирных, понятно, - для тощих. Как и при отцах и при дедах, белое выдавалось за черное, черное за белое, в этом деле бай-степняки мастаки. Виновный ходил тузом, выпятив круглое пузо, невинного волокли с позором за драный ворот -привычное зрелище, старинная картина!

Едва прошли выборы и в волостях стал угасать гром барымты, как в уезде отозвалось долгое эхо. Большое чиновное начальство насторожило длинные жандармские уши. В городских толстостенных канцеляриях судили по-своему:

- Между киргиз (так именовали тогда казахов) участилась артельная верховая

езда... Взял волю воинственный элемент. Не ровен час, выплеснется сия зараза из киргизских волостей на казачьи станицы...

- Стражники, урядники докладывают: непослуша-ние-с! Случаи непочтения к чинам... к свыше установленным регалиям.

Подобострастные доносы волостных друг на друга подливали масла в огонь. Их всеподданнейшие бумаги, точно оспенной сыпью, пестрели страшными словечками: бунт, бунтовщики, смутьяны, воры...

А «вор» на чиновничьем жаргоне то же, что «бунтовщик».

И вот в студеный осенний день, подобно взрыву, сотряс уезд приказ жандармского начальника. Все волостные управители, все бии аулов были срочно вытребованы в город для строжайшего допроса и внушения.

Ну и пошла писать губерния! Крупные «шишки» и мелкая сошка за канцелярскими столами, по-над стеклянными чернильницами и мраморными пресс-папье развернулись вовсю. По старой привычке стращали... Грозили выборным волостным смещением с постов, а главарям родов и партий - ссылкой из родных мест. Под

шумок набивали себе взятками бездонные карманы. Отпускали, приказав: - Чтобы у тебя там, господин хороший бай, было смирно!

Встряска подействовала на жирных целебно. Хмельной зуд, возникающий под кожей от крепкого кумыса, миглом утих. И даже страшный, как чума, неизлечимый недуг интриганства как будто бы пошел на убыль.

Главари враждующих партий съехались в город на общий шумный, словно праздничный, сбор, и началась показная гульба... Резали отборных коней серой масти и иных мастей, с лысинкой на лбу и без оной, и громогласно читали Коран, воздевая к небу мытые холеные барские руки, взывая покончить с раздорами, прийти к вожделенному согласию. Под конец на пожерт-венной крови, при многих свидетелях, принесли клятву - отныне и на веки веков пресечь смуту в народе, пресечь воровство, лукаво притворяясь, что и не ведают и не подозревают, кто это воровство затеял.

По примеру других на глазах у других помирились и Жарасбай с Сатом.

Сговор был дружный, сговор легкий. Седобородые хищники, опытные лжецы поняли друг друга с полуслова и наперед наметили себе, кого обвинят, кого предадут гоненьям в угоду жандармам, хотя вслух ни одного имени не назвали.

Издавна уж так повелось: пока не дашь в уезде взятку, не обретешь покоя. Но на сей раз требовалась особая взятка: людьми... виноватыми...

Был у Жарасбая в городе свой человек - толмач Токпаев. С ним Жарасбай сжился душа в душу, сросся рукав в рукав. Токпаев стал для бая ангелом-хранителем, вернее, ангелом-оповестителем, из тех ангелов, которые зимой и летом безотказно получают земную мзду натурой и деньгами. В свое время этот житель уездных небес и пособил Жарасбаю «угостить» Сата каталажкой, подсунув кому следует под горячую руку нужную бумагу и должную купюру.

После выборов толмач позвал Жарасбая в гости к себе на городскую квартиру и с глазу на глаз, из уст в ухо, ласково предупредил:

- Начальство изволит гневаться...  
Доносят, многие доносят: содержишь у себя воров, а среди них - знаменитых конокрадов первой руки.

И посоветовал Токпаев выдать начальству одного-другого из самых заметных, заядлых, колющих глаза...

- Главное, приговорите его сами, у себя, на бийском суде, приведите в город под своим конвоем на волосяном аркане. Чтобы был у всего этого дела должный вид.

Вот чего не знал Бахтыгул.

Близился съезд биев волости Челкар. Их созывал волостной раз в три-четыре месяца, когда накапливались споры и ссоры. Обычно бий судили-рядили, а волостной из-за их спины приговаривал:

- Не я решил, не я казнил - старейшие, мудрейшие в народе...

Но на очередном съезде бий не собирались касаться обычных долговых тяжб, а намеревались заняться неким особо важным делом, требующим особой мудрости, и потому ждали съезда с нетерпением, с небывалым интересом.

Ждали и торопили волостного. И об этом тоже не знал Бахтыгул.

Беды лепятся к бедняку, точно заплаты к изношенному чекмену. В то самое время, как Бахтыгул в растерянности метался по соседям, спрашивая совета, пропал и козыбаков скот - несколько голов. И вор и покража исчезли бесследно, но козыбаки тотчас обвинили Бахтыгула. Раз нет следа - значит, украл он! Не зря говорится: ослепший видит то, что видел еще зрячим.

Искать пропавший скот приехали двое. Ввалились в дом Бахтыгула и стали рыскать по углам, по закуткам, как год назад. Бахтыгул удивился сперва: распорядились наглецы в чужой волости, как в своей. Правда, с них какой спрос? Одно слово - козыбаки! Все же Бахтыгул попытался выпроводить их добром. Не ушли. Разорались, словно хозяева:

- Хочешь прошлогоднего? Скучаешь по нашим плетям?

Кровь бросилась в голову Бахтыгулу. Он выхватил из-за голенища узкий длинный нож с черной рукоятью:

- Запорю... собак неумных!

Пришельцы оказались отменными «храбрецами»: язык поганый, дутая грудь. Оба кинулись от ножа наутек, к своим лошадям, бранясь в оба горла. Долго крутились верхами перед зимовьем на виду у Бахтыгула и грязно, гнусно лаялись. Знали шакалы, что лев за ними не погонится.

В тот же день Хатша приготовила вкусное жаркое и поехала в аул волостного с достойным угощением дому Жарасбая. Но байбише Кадиша встретила ее, хмуря насурмленные брови, на мясо и не взглянула. Хатша величала ее тетушкой, а та только кривила губы и надменно фыркала. Вслед за хозяйкой и скотницы, и домашние девки-прислужницы принялись подтрунивать над Хатшой, ехидно высмеивая каждое ее слово, ухмыляясь ей в лицо.

Хатша улучила момент и при Жарасбае сказала байбише о сыночке Сейте:

- Полюбилось дурачку ученье у муллы. Покоя не дает, твердит свое: зима, мол, на носу, когда да когда пошлете меня?.. Не знаю, что ему и ответить.

Но ни волостной, ни байбише головы не повернули, слова не обронили, будто Хатши

и не было в доме. Расстроенная, испуганная, она вернулась в свое жалкое зимовье.

Тогда поехал Бахтыгул и тоже вскоре вернулся молчаливый, угрюмый. В ауле волостного на него смотрели исподлобья, говорили с ним сквозь зубы. Тыкали ему вслед пальцами, шипели за спиной злорадно:

- С-с -строптивец...

Дней десять еще прожил недавний атаман и любимец как на отшибе, брошенный всеми, не высовываясь из дома, нигде не показываясь, тщетно гадая, что же случилось и что еще должно случиться. Жил, как под арестом, и лишь случайно, от стороннего проезжего, узнал, что уж третий день, как собрался в Челкаре съезд биев.

Говорили люди, что подобрались бий на редкость жестокие и злые. Судят строго, присуждают много, без пощады и снисхожденья. И будто бы составлен черный список, и в нем двадцать человек, объявленных ворами. Кто попал в этот список, никто не знает, но ясно, что несчастным не миновать тюрьмы.

Хатша неведомо где узнала имя одного из них -Жадигер. И Бахтыгул содрогнулся от

чувства, которого не испытывал целый год. Жадигер, молодой парень, был правой рукой атамана летом, в пору барымты.

- Видит нечистая сила, в кого целит, в кого метит, -сказал себе Бахтыгул. - Подходит моя очередь.

В эти дни он ни разу не улыбнулся, почти не ел, совсем не спал, ни с кем не говорил. Надвинув на брови меховую шапку, лежал пластом на спине, на дырявой кошме, не шевелясь, словно связанный, и казалось, весь мир перед его потухшим взором перевернулся вверх дном.

Лежал и ждал, когда его позовут.

И его позвали. Приехал человек с почетной сумой посыльного и увел его за собой.

В чисто прибранной, нарядно убранной высокой восьмиканатной юрте, утопая в нежном пуху подушек и одеял, лежали, развалясь, жирные; днем и ночью они ели мясо - сытые до одурения. Ели и судили... И очень были похожи на псов тех аулов, где скот подох от мора, - глаза налиты кровью, загривки вздыблены, хвосты поджаты, как у

бешеных: нажрались падали, бросаются на человека.

Бахтыгул, едва волоча ноги, словно изможденный долгой болезнью, вошел и тихо поздоровался, став у дверей. И ни один не обратил на него сочувственного взгляда - ни суровый старейшина, ни ласковый Сарсен. Бии отворачивались, будто опасаясь заметить его поклон, а приживалы, наоборот, таращили, пучили на него рыбы глаза, бледнея оттого, что он смеет им кланяться. И не нашлось человека, который спросил бы его о здоровье, семье, о жите-бытье.

«Ну, теперь-то ты чуешь, чем дело пахнет?» - спросил себя Бахтыгул со скупой усмешкой и вдруг, сам того не ожидая, вздохнул с облегчением.

Словно бы посветлело в его душе, прояснилось в голове. Это дело знакомое, привычное. Просто нет на земле справедливости и никогда не будет. Очень просто.

«Я во всем чист, нет за мной вины, - говорил себе Бахтыгул. - А если я вор, вы

трижды воры, и не вам меня винить, не вам судить. Мне бог свидетель!»

Он как бы спорил с самим собой, доказывая себе собственную правоту, а тем временем бии начали свой суд.

Истцами были, конечно, козыбаки, и бии выслушали старшего с почтительным вниманием. Затем со вкусом отхаркались, насупились и всем скопом взяли в оборот обвиняемого.

Однако, сколько они не петушились, он не вешал головы. Как и прежде, он не стал отпираться. И одному, и другому, и третьему бию ответил невозмутимо:

- Не скрывал и не буду скрывать - скот у козыбаков брал.

- Зачем брал? Почему брал?

- А затем и потому, что был в вашей партии! Бии-челкарцы на момент присмирели. Засопели, молча переглядываясь. Бий-kozyбаковец, низкорослый, тучный, с прямыми, точно иглы, усами, выручил их.

- Ох, уж мне эта партия... несчастная ваша партия! - вскричал он, сытно

похохатывая. - Кому только она, бедная, не служила! И тебе, оказывается, она подставила спину, подобно ишаку, ну и ну!

Челкарцы оживились, ухмыляясь, облизывая лоснящиеся губы.

- Интересно бы узнать, какие же у тебя партийные счета с Сатом или оразами? Может, ты поспорил с ними на каком-нибудь народном собрании, заступился за Челкарскую власть, встал горой за нужды народа? Что-то я запомнил, когда это было... Напомни нам, сделай милость!

Бий засмеялись, отваливаясь, держась за животы.

- И в счет чего, напомни, ты взял у козыбаков указанные пять лошадей? Вот что, милый, напомни... Указанные пять лошадей!..

Бахтыгул огляделся с горестным недоумением. Над чем они смеются? Сперва он и впрямь попытался припомнить, о каких именно пяти лошадях идет речь, а потом и сам усмехнулся, глядя на развеселившихся биев. Им всегда весело, им всем весело - и своим, и чужим, и истцам, и судьям.

- Я брал и пять, и дважды пять... - проговорил Бахтыгул глухо. - Вам ли не знать, сколько я брал! Что же, конечно, я вступался за свою волость, себя не жалея, о себе не думая, - за вас воевал-бедовал, голову клал, ради хозяина, ради его живота...

Бии разом всполошились, зашумели, не давая ему договорить.

- Ишь ты, что плетет, куда гнет!

- Во-е-ва-ал!.. Дерзость какая... У кого обучался таким словам?

- Воевал - воровал! У него это одно и то же.

- Сам сказал: «и дважды пять...»

- Не пойму я, - выговорил Бахтыгул негромко, со сдержанной силой, - чего хотите от меня, почтенные люди?

- Судим тебя за преступные дела, - надменно ответил старший из биев, - запрещаем тебе преступные речи! - И протяжно крякнул, довольный сказанным, огладил седую бороду с важностью. - Не смей и заикаться о том, что тебе не по чину, не по плечу, не по рабскому разумению. Те, кому должно, кому богом назначено, разберутся сами в своих делах, сообразно

высшему усмотрению, тебе недоступному. Наша волостная партия уже очистилась давно от этих пяти лошадей и всего прочего. Я сказал: давно и добела! А очистив себя, направила законного истца по верному следу, по пути истины. Ныне отвечай за свою вину, раз ты призван к ответу!

- Но в чем же моя вина? - спросил Бахтыгул с отчаянием. - Не для себя брал, на взятом не разбогател. По указке брал, против своей воли. Может, тем и виноват, что делал, что велят? Скажите...

- Ин-интересно, а кто ж это мог тебе велеть воровать? - осведомился козыбаковец, выпучив нахальные глаза.

Бахтыгул опустил голову. Он колебался. Ему было стыдно и смотреть, и слушать, и отвечать этим людям.

- Молчишь? Наветчик...

- Лучше бы они сами сказали, - печально проговорил Бахтыгул. - Их недолго искать. Недалеко ходить... Вот они сидят на почетных местах. - И он показал на Сарсена и Кокыша, только что вошедшего в юрту с роскошной плетеной камчой в руке. - Хоть и не по чину мне, а хотел бы я посмотреть, как

они очистятся от тех пяти лошадей и всего прочего... и какое тут будет высшее усмотрение...

Бий переглядывались сердито, с затаенной яростью. Среди приживалов прошелестел завистливый и ехидный шепоток.

Батрак-голодранец держался с властью имущими чересчур смело и уж больно умно. Хочется правды рабу! Стало быть, легко не отделается раб!

Сарсен молчал, спесиво надувшись. Кокыш, черный, грузный, как буйвол, угрюмо посмеивался, играя своей камчой.

- Заруби себе на носу, - сказал Кокыш, - одно - партийные тяжбы, другое - воровство! Нам отвечать за одно, тебе, любезный мой, за иное. И ты не путай... не выпутаешься! («И это он говорит?..» - подумал Бахтыгул.) Бий! - поспешно продолжал Кокыш. - Ежели ему позволить, он не только нас, еще десятерых и самого Жарасбая измажет своим дерьмом. А вот что мне поручил немедля сказать вам волостной управитель, послав сюда. Слушайте слово волостного управителя: выборные дела тут ни при чем, -

перед вами вор!.. И его поганое воровство, которое он признал! Судите вора и карайте.

Бахтыгул бессильно опустил тяжелые рабочие руки.

- Я... вор? Это... слово болыса? - спросил он с наивностью ребенка. И не дождался ответа.

Что бы ни творилось на его глазах, в глубине души он все-таки ожидал: в последнюю минуту слово болыса, единственное слово вызволит его из беды. «Я ручаюсь за этого несчастного!» - вот все, что стоило бы сказать волостному. Больше ничего. Век не забыл бы этого слова Бахтыгул, даже если бы бий его несправедливо осудили. В могилу с собой унес бы это слово Бахтыгул. «Я ручаюсь за несчастного...»

Бахтыгул непроизвольно ощупал загрубелыми пальцами шрам на своей щеке - выпуклый рваный шрам, подобный тавру, - память о последней встрече с кабаном Сальменом. Точно такой шрам, неизгладимый, лег сегодня на сердце батраку, и сердце его кровоточило.

Ему ли не знать, сиротливому сердцу, какова бывает жестокость, каково бывает вероломство? Ему ли не знать...

- Ну, коли это слово болыса, - сказал Бахтыгул, - и не врет Кокыш, я замыкаю рот, молчу, как покойник. Воля ваша, - сожгите мою жизнь, она хуже собачьей. Жил бедняк и нет бедняка - эка важность! Одно скажу напоследок: я же вам верил... верил! Э, да ладно... бог с вами, а мне поделом... - Бахтыгул, не договорив, опустив голову на грудь, поднялся и вышел вон из юрты.

Пошел, как слепой, кусая губы, чтобы не завывать по-собачьи, и тут увидел волостного. Жарасбай и еще четверо толстых в богатых халатах неторопливо пересекли ему дорогу и пошли, важно беседуя. Жарасбай не заметил его привета. Бровью не повел! Вот что было подло... Вот бесстыдство!..

И впервые Бахтыгул заскрежетал зубами, глядя в спину Жарасбаю.

Подбежал рассыльный и позвал - принять приговор. Бахтыгул пошел за рассыльным.

Бии присудили возместить указанные пять лошадей, по справедливости, пятью лошадьми. А вдобавок вору - три года тюрьмы.

## Глава 8

Два дюжих парня вывели осужденного наружу.

В степи не было помещений с решетками и не было в заводе держать людей на запоре, потому осужденным, прежде чем отправить их в город, надевали для верности на ноги кандалы с большим висячим замком на каждом браслете.

В первые минуты Бахтыгул до того потерялся, что и не понял, куда его ведут. Смотрел на своих конвойных и думал про них в отупении: какие невзрачные да слабосильные...

- Пстой тут, - сказал один, а другой пошел и вынес рыжие от ржавчины цепи, он стал вертеть их в руках, глядя на ноги Бахтыгула.

Тогда Бахтыгул с презрением оттолкнул молодца, да так, что тот едва удержался на ногах, а кандалы упали в пыль, жалобно звякнув. Другой отскочил прочь с резвостью козленка.

Бахтыгул подошел к своей лошади, вскочил в седло и поехал тихой рысью между юртами, мысленно говоря: «Прощайте, все...»

Парни были без оружия, и можно ли их винить в том, что они подняли крик, когда знаменитый барымтач был уже на коне:

- Эй, эй! Куда? Держи! Лови!..

Ловить казаха в степи - искать ветра в поле. Пока конвоиры кричали, беглец перевалил через холм, у которого лепился аул, углубился в каменистую обрывистую ложину и пропал в горных прилавках. И опять же можно ли винить посланных в погоню, что они потеряли след? Люди не собаки... Тщетно гневался волостной управитель, бранились бий, грозя выдать нерадивых, упустивших осужденного, жандармам. Ушел красный зверь.

Ушел, против своей воли, в ту жизнь, которой всегда чурался и из которой не было возврата.

Нигде не задерживаясь, Бахтыгул прискакал домой, и Хатша без слов поняла, что случилось, и тотчас, без слез и

причитаний, принялась собирать ему теплую одежду.

Бахтыгул быстро заседлал другого коня - саврасого скакуна; отныне этот конь его единственный друг. Повесил за спину старинное курковое шомпольное ружье, заряженное картечью. Сунул за пояс и револьвер, который брал с собой летом, - теперь он уже не игрушка.

И ушел в Черные Скалы неподалеку. Здесь он заколол последнюю свою ярочку и наскоро разделал мясо; половину оставил семье, другую круто посолил и уложил в мешок из высушенной брюшины. Вечером, в сумерках, Хатша принесла ему толченого проса, а он отдал ей баранину. Еще он взял с собой в поводу откормленную каурую лошадь.

Прощание было коротким. Поручив богу свою семью и не сказав жене, когда вернется, Бахтыгул скрылся в ночи.

Хатша и тут не заплакала, только вымолвила сухими губами:

- О Жарасбай, двуличный, двоедушный!.. Чтоб и твоя жена проводила тебя туда, куда я своего!.. Чтоб и твоим детям было то же, что моим... - И посмотрела в беззвездное

небо с верой, что это проклятие не минет подлого обманщика.

В ту же ночь нагрянули в дом беглеца посланцы волостного. Но у Хатши они ничего не дознались.

- Утром уехал к вам, - сказала она, притворно улыбаясь. - А что такое стряслось? - Но глаза ее светились гневом и гордостью.

Прошло две недели. Жарасбай повел поиски основательно, что называется, взяв в руки фонарь.

Днем и ночью десятеро верховых не сходили с коней, прочесывая горы с севера на юг, с востока на запад. В Бургене и Челкаре знали, что легко Бахтыгула не сыщут и дешево он в руки не дастся, поэтому Жарасбай задумал взять его измором. Сменяя друг друга и меняя лошадей, люди волостного рыскали по горам и долам, по аулам и зимовьям, расставляя повсюду засады и дозорных, чтобы не дать беглецу передышки, измотать его коня, затравить, взять обессиленного, уstraшенного травлей. Искали его известные охотники, знающие в горах на ощупь каждый камень, каждую щель, искали

заведомые воры, способные видеть в непроглядной ночи и проскользнуть под носом у пугливой овцы.

Бахтыгул уходил от них, как дым в темноте, но ему приходилось туго.

Страшный призрак тюрьмы, немой и безглазой, с бездонным каменным зевом, подобно нечистому духу, бежал за ним по пятам. И Бахтыгул молился, оглядываясь на него:

- О господи, спаси... дай мочи!

Враг гнался за ним упорно и неотступно, как в сказке Баба-яга гналась на быстроногом одногорбом верблюде за храбрым охотником Куламергенем. Иногда беглецу снилось, что за ним катит сплошной вал лесного пожара или подкрадываются длинные сизые языки наводнения, и он просыпался то в испарине, то в ознобе. Иногда это мерещилось Бахтыгулу наяву, и были минуты, когда он не отличал сна от яви и суеверно плевал себе за пазуху, чтобы отогнать наваждение, вырваться из незримых объятий нечистого духа.

Были случаи, когда конь уносил его от погони почти бесчувственного, благо что и в

беспамятстве джигит не валился с седла. Очнувшись, Бахтыгул благодарил судьбу, подарившую ему такого друга, шептал исступленно:

- Не дамся... Живым не дамся... Помру в седле... Отдам душу богу, а не баю... Лучше в пропасть, чем в тюремную дверь...

Но все чаще его хватало за горло уныние, он хрипел, как лошадь в туго натянутом аркане. Рано или поздно его настигнут и закуют в цепи эти толстые, жаднорукие. Он не хотел помирать. Горячая кровь билась в его жилах, в истомленном теле. Сидя на корточках перед жалким, гаснущим костром, подняв голову к скалам, точно волк в морозную лунную ночь, он говорил:

- Ну, Жарасбай, не доводи до края... - И в скалах отзывалось чуткое эхо.

Жарасбай подозревал, что беглецу благоволят в бедняцких аулах, - те прячут, а эти кормят. И повсюду разослал гонцов с пугающей вестью:

- Пока ходит меж нами беглый, никому не будет покоя. Не ровен час, нагрянет из города отряд, жандармы... Тогда пиши пропало. Из-за одного строптивца

пострадают безвинно десятки, сотни...  
Возропщут старики, заплачут жены и дети,  
да поздно!

Заодно послал Жарасбай доверенных лиц  
к влиятельным аксакалам, чтобы и они не  
сидели сложа руки, спустя рукава. Нагнал  
хитрец страха на робких и неробких, на  
добрых и недобрых. Пустил поверху  
беркута, понизу борзых.

И разом лишился Бахтыгул тайного крова  
и тайного подаянья. Не прошло и недели,  
как он очутился во всеобщей кружной  
облаве, точно медведь в кольце собак-  
пиявок. Горные дебри и те становились  
ненадежны. До него дошло, чем запугал  
людей лиса Жарасбай. Пугало испытанное...  
Теперь человеку не доверяйся - один  
прогонит, другой убежит, третий продаст, а  
то и убьет со страха.

Ненастной ночью в последний раз  
заночевал усталый донельзя Бахтыгул под  
одной крышей с людьми, и было это в  
маленьком горном ауле, в убогой юрте,  
примостившейся на отшибе, под нависшей  
скалой, в тех местах, где берет начало  
кипучий белогривый Талгар.

С самого начала показалось ему, что в доме неладно, не так, как прежде, не по-людски. Встретили Бахтыгула насупясь, глядя ему в ноги да за спину, будто за ним следом вползла змея. Ночью он долго слышал сдавленный, беспокойный шепот хозяев, будто и этот шепот хотели от него скрыть. И когда они притихли, он не уснул. Подремал часок, расправив ноющую от усталости спину, и задолго до рассвета поднялся и вышел неслышно, волоска на людях не шевельнув. Оседлал крепко спавшего на ногах Саврасого и уехал, тщательно проверив, не следит ли за ним человеческий глаз. Уехал со стыдом и горем, но без зла. Слава богу, что еще не встали поперек дороги.

Был у Бахтыгула приятель в Бургене - русский мужик, старый горемыка, очень смелый человек. Три года назад случай свел их в пору барымты, когда Бахтыгул служил еще Сальмену, и они крепко сдружились. Смелости мужик был неслыханной: пошел против большого городского начальства, и оно уpekло его в тюрьму, хотя он и был свой же, русский. Год просидел мужик за

решеткой, и, пока он сидел, Бахтыгул сколько мог, подкармливал его многодетную семью и хлебом и мясом. Вернулся мужик изломанный тюремщиками, но рассказывал о тюремной жизни со смешком, так, что мурашки продирали Бахтыгула по спине. К нему первому пришел Бахтыгул после бийского суда, простившись с женой и детьми, и тот без лишних разговоров прежде всего выкопал из земли и отдал припрятанные впрок порох и свинец для ружья и пули к револьверу.

Это друг закадычный. Жандармами его не испугаешь. Но он жил далеко, в открытой степи, в людных местах.

Еще одно пристанище было у Бахтыгула - ниже по течению Талгара, у Красных Скал, в доме бедняка Катубая. В этот дом Бахтыгул забредал чаще, чем в другие, и всегда находил в нем приют. После разлуки с родным очагом очаг в доме Катубая стал ему самым близким, самым теплым. И Бахтыгул решился рискнуть заглянуть, погреться чайком, если напоят, послушать, что слышно в округе, если скажут, побаловать в сухом

закуте коня, а к вечеру, в сумерки, уйти в горы.

Он выехал на опушку соснового бора, взбиравшегося вверх по отвесному склону, и осторожно огляделся. Внизу неистово бушевал Талгар, наполняя грохотом всю ложбину. Близ дома Катубая и во дворе как будто бы чужих нет, заседланных лошадей не видно. Бахтыгул медленно подъехал к воротам, слез с коня, привязал его и вошел в дом.

Катубай, сам четвертый, с женой и двумя детьми, жил оседло, врозь со своими родичами близкими, кочевавшими круглый год. Встречались они нечасто, случайно и без особого интереса друг к другу. Летом Катубай растил хлеб, зимой ходил за скотиной, а было у него скота - конь да несколько коз с козлятами, тем бедняк и довольствовался. Еще пробавлялся охотой, ловко ставил силки и сетки на мелкую дичь, стрелял крупную; это тоже его кормило. К охоте Катубай пристрастился; Бахтыгул делился с ним драгоценными зарядами и сам был любителем поднять неприметный для

других след, добыть дичинку одним дальним выстрелом. Вот что их роднило.

Когда Бахтыгул вошел, все четверо были дома. Катубай чистил ружье, жена его жарила куырдак, детишки теснились у очага, дожидаясь угощения. На треножнике кипел желанный чай.

Катубаю за пятьдесят, в маленькой его бородке седина, а на скулах румянец, как у юноши. Кроткий, добродушный, легкий нравом человек. Его байбише - статная, полная, светлолицая и тоже румяная. Лицом и телом она крупновата и больше походит на мужчину, а отзывчива и наивно-добра, как девочка или сердобольная старушка. Истинно на счастье свели духи предков этих двоих! Дети точь-в-точь в отца и мать. Два мальчика, скромные, чистенькие, приветливые, неприхотливые.

Чай подали немедля. Потом и мясо. И, конечно, оставили беглеца ночевать... Он согрелся и насытился, точно под родной кровлей, из родных рук. Одинокая озябшая душа Бахтыгула размякла и заскулила. Он вышел во двор к своему Саврасому, мирно хрустевшему сеном в ночной тишине, обнял

коня за шею и долго стоял так, с щемящим сердцем, судорожно кусая жесткий ус.

Катубай и его жена знали историю Бахтыгула, но с его слов. А больше ничего не ведали. По гостям Катубай не ездил, без нужды и дела по аулам не шлялся, за слухами не гонялся, без сплетен не скучал. И, видимо, невдомек было добряку, сколь много он дает беглому вору и сколь многим рискует, укрывая его. Не потому ли Катубай так беспечен? С незнающего - какой спрос?

Несколько студеных осенних ночей провел Бахтыгул у Катубая. Уходил и приходил в темноте, чтобы ненароком не подвести милых людей. Уходил со свежими силами, приходил не с пустыми руками - с дичью.

- Не мы тебе, ты нам подмога, - говорил за поздним ужином Катубай. - И еще скажу: одинокому бог подпорка!

И Бахтыгул подумал: «Если этому человеку придется выдать меня, пусть... пусть выдаст!»

- Прослышал я, будто бы бродит в наших местах страшный человек, плохой человек. Не человек - шайтан... Волостной велит:

всякому, кто бога боится, ловить и вязать злодея. Недавно в нижний аул нагрянула целая шайка верховых - искать его... - И Катубай закончил с глухим смешком: - Этот шайтан уж не ты ли, сынок?

Бахтыгул понял: пора уходить.

Он тотчас оседлал Саврасого и поехал вдоль Талгара.

Издали слышен хрипучий и гулкий голос белогривого потока. А вблизи его ледяное кипение устрашает. Диким холодом, неумолимой мощью веет от зеленой воды, сплетенной в стремительные струи, - невольно отступаешь от берега, и все же не оторвать от воды глаз! Кажется, что множество удавов, извиваясь, вспухая толстыми горбами, свились здесь в неразрывном объятии и душат друг друга, изрытая клубящиеся гребешки снежно-белой пены. Кажется, что не волны, а тысячи одичавших животных с оглушительным топотом в паническом ужасе несутся по руслу потока, и спины их громоздятся друг на друга.

Бахтыгул придержал коня в узком темном ущелье, над большим порогом,

приглядываясь и как бы примеряясь к бешеной воде. Летом Талгар многоводней, но и сейчас, глубокой осенью, он не обмелел, бурлил и шумел впустую. Поток изгибался здесь туго натянутой тетивой. Выше по течению вода вылетала из-под громадной нависшей скалы, словно из-под гранитного носа, из чудовищной каменной глотки, ниже проваливалась под другую скалу, подсеченную у основания, точно в зияющую бездну. Казалось, одна гора поила другую и не могла напоить.

Миновав поворот, Бахтыгул выехал на более покатое место, в небольшую открытую долинку. Поток стал шире и мельче, но и здесь жутко было подумать о броде. Голова кружилась от взгляда на плоские, гладкие, мягко уходящие друг под друга валы с высокими жирными поясами пены, - словно застывшей на месте в нескончаемом полете.

«Мост у нижнего аула, - думал Бахтыгул. - А так не перескочишь...»

И тут Саврасый вскинул голову и наострил уши. Бахтыгул глянул туда, куда смотрел конь, и сердце его дрогнуло.

Два всадника выехали из-за голого безлесого уступа, примерно в полуверсте от берега. Люди не простые: чекмени надеты на один левый рукав, в руках дубинки. Кони сытые, свежие.

Бахтыгул быстро оглянулся и увидел позади себя, на отлогой скале, еще четверых конников, и, кажется, один из них был с ружьем.

Так. Похоже, что его окружили. Он в каменном загоне. Талгар, белогривый, громкоголосый, отрезал Бахтыгулу путь в безлюдные, труднодоступные места.

Спрятаться негде. Пробриться напролом? Не выйдет. С ним церемониться не станут. Пристрелят на всякий случай, чтобы не упустить.

А раздумывать некогда. Всадники заметили его и кинулись вскачь со свирепо разинутыми ртами, размахивая дубинками. Впереди уже трое, сзади шестеро-семеро - некогда считать. Долгий свист прорезал грохот Талгара.

Оставалась одна дорога, одна надежда...

Бахтыгул почти бездумно закрепил потуже за спиной ружье, нащупал на груди

кожаный непромокаемый мешочек с зарядами, переложил шестизарядку в карман. Выбрал на глаз место у берега, вроде бы потише, и ударил Саврасого плетью, направляя его к воде.

И Саврасый пошел. Опустил голову, словно собираясь напиться, и медленно, осторожно вошел в ледяное кипенье.

У самого берега коню было по колени. Затем его потянуло вглубь, подхватило под брюхо, толкнуло, валя набок, и понесло. И все - берега, горы, небо - полетело вкривь и вкось и с громом завертелось перед глазами Бахтыгула, подобно громадной черно-красно-зеленой карусели.

- Господи, вынеси... Предки, пособите... - молился Бахтыгул, лежа на спине Саврасого.

Сильные твердые струи кидали его и коня то вверх, то вниз, стремительно унося по течению. Вода била, трепала и молотила Бахтыгула от затылка до пят, словно тысячью дубин, тысячью цепей, сдергивая, срывая с коня. А он цеплялся за него, немея от натуги и ясно чувствуя, как изо всех сил борется под ним Саврасый, как его бьет, ломает о подводные камни, а он держится,

не поддается, спасая седока. Как только ослабнет конь - конец! Целы ли у Саврасого ноги, грудь? И где правый берег, где левый? Ничего не понять... Алчный зеленый зев воды распахнулся перед Бахтыгулом, и он летел в него кувырком, отчетливо сознавая, что летит навстречу гибели. Никакой надежды в сердце, сжато последним напряжением.

На миг коня подняло над водой по грудь, и Бахтыгул увидел вдруг выросшую впереди черную мокрую каменную глыбу... «Вот... конец!» - мелькнуло у него в голове. Еще миг - и их расплющит об эту скалу, разметет в разные стороны... Не случилось ни того, ни другого. Саврасый чудом удержался у черной глыбы и, видимо, даже встал на ноги и стоял, прижатый к ней напором воды. Бахтыгул осмотрелся, отхаркиваясь и отплевываясь. Боже милостивый! До берега каких-нибудь два-три шага...

Но тут же он почувствовал, как Саврасый начинает сползать со скользкой скалы. Сносит! Конь хрипел, оскалив желтые зубы, кося огненным глазом. Сейчас их смоем и потопит. Бахтыгул вскрикнул вне себя, не

помня что - может быть, «прощай», а может быть, «прости», встал коню на спину, потом ступил ногой ему на голову, между ушей, оттолкнулся и дрыгнул изо всей мочи, с силой отчаяния, в сторону берега...

Вода ударила его по ногам, точно палицей, и он подумал: «Все пропало!»

Очнулся он на прибрежной гальке, лицом вниз, окровавленный, в изодранной одежде, дрожа от холода и боли. И первое, что он вспомнил, было: «Саврасый...» Со стоном Бахтыгул поднял голову, но ничего не увидел в багровом тумане, застилавшем глаза.

Правый бок и бедро были ободраны, точно звериными когтями, все тело в ссадинах и кровоподтеках, но кости и голова целы. Уцелело и ружье, и мешочек с зарядами, только шестизарядку вырвало вместе с карманом.

Слепой, мыча от боли, Бахтыгул вполз повыше на берег и, когда кровавая пелена сошла с глаз, уставился на Талгар, как помешанный. Он заревел бы от горя, если бы хватило на то сил. Саврасого нигде не было

видно. Плеть, будто в насмешку, висела на руке Бахтыгула.

Нет, видно, не в седле суждено ему умереть... Нет Савраски! Ушел желтозубый бесстрашный друг туда, где костей не соберешь...

Бахтыгул с ненавистью, скрипя зубами, посмотрел на другой берег.

Полтора десятка всадников гарцевало там на нервно пляшущих конях, в порядочном отдалении от потока, не приближаясь к воде. И кони и люди были напуганы и уstraшены тем, что видели. Перепрыгнул, шайтан, Талгар!

И тогда поднял Бахтыгул окровавленный кулак и, слабо тряся им, прохрипел:

- Ну погоди же, благодетель, ласковый бай...

## Глава 9

Бахтыгул бродил в безлюдном суровом краю, над перевалом Караш-Караш. Ночью он укрывался в сосняке, разводил в колючих зарослях, в каменной яме, дымный, короткоязыкий костер, чтобы вскипятить

воду для жиденького чая или какого-либо немудреного варева. А с восходом солнца спускался к перевалу, к серой ленте дороги, вьющейся по пустынным унылым увалам.

Целыми днями Бахтыгул не сводил с дороги сощуренных воспаленных глаз, покусывая черный ус. Иногда спускался на нее и ходил взад-вперед, осматриваясь по сторонам, словно разыскивая что-то. Иногда садился на корточки, ложился на живот над дорогой, то с одной, то с другой стороны, в мрачном раздумье, невнятно бормоча себе под нос, и смотрел на нее неотрывно, по-птичьи прикрывая один глаз, будто подмигивая.

Лицо Бахтыгула серо, на скулах ни кровинки, и кажется, что все живые соки замерли в нем. Руки тряслись и вздрагивали, словно стискивали скрюченными, цепкими пальцами что-то невидимое. Дышал он неровно и то вздыхал тяжело, всем нутром, то покашливал хрипло, беспокойно.

Нетерпение мучило его. Длинные вислые его усы над вспухшими, лихорадочно горевшими губами подчас смахивали на крылья беркута, прижавшего к снегу рыжую лису.

День за днем он сползал с кручи к дороге через перевал и, насмотревшись на нее, поднимал голову к поднебесному джайляу, выцветшему к осени и запятнанному ранним снегом, на высокой горе Асы. Бахтыгул глядел на нее покрасневшими глазами, щурясь от слепящего сияния снега, и не понять было, слезятся они или поблескивают холодно.

Бог свидетель, он не хотел того, что задумал, как не хотел прежде ни громкой достославной барымты, ни тайного бесславного конокрадства. Его привели на край, и он без оглядки обнялся со смертью, ступив в Талгар. Ему суждено было воскреснуть. Стало быть, он не выпил еще своей чаши до дна. И он готовился допить последнюю каплю здесь, на Караш-Караше!

Караш-Караш - сплетение трех хребтов, скалистых, гологоловых, опоясанных сосновыми и еловыми лесами. Главный Караш, Средний Караш, Нижний Караш... Черные горы, аспидно-траурные скалы, вечно темные лесные дебри... Перевал здесь высокий и трудный, но единственный во всей округе. Летом на него медленным

шагом взбираются караван за караваном - в Бурген, в Челкар; с бляением и ржанием рекой текут стада и табуны вверх, на манящие травы джайляу. Теперь, серой осенью, в самый канун метелей и белых лавин, редкий путник проскочит перевал, понукая коня и озираясь, не видно ли волков, спускающихся следом за скотом на равнины.

Один Бахтыгул не уходил отсюда. Он знал, что здесь его судьба. И ждал, глядя на дорогу.

Выбрал он Средний Караш. Облазил, обшарил все кругом, каждую щель, каждую извилину, обнюхал горы, как пес, и знал их наизусть, как мулла книгу. Он искал место, где бы он мог возникнуть, словно из-под земли, и тотчас провалиться сквозь землю. Он нашел такое место. Дорога вилась по склону каменистой лощины и вела путника широким полукругом, открывая его издалека. Ближе к перевалу дорога взбиралась по краю обрыва, вдоль отвесной стены. Здесь, встретившись, можно было разминуться, только держась друг за друга. Против дороги, по другую сторону лощины,

на остром хребте росли, тесно прижавшись друг к другу, словно из одного корня, три старые осины. Сразу же за осинами начинался головокружительный спуск, покрытый бородавками красных скал, на которых могла удержаться лишь коза. А у подножия - темный лес, в нем легко укрыться и пешему, и конному.

Эти осины на крутизне, их матово-серебристые стволы подолгу любовно ласкал Бахтыгул загрубелыми озябшими руками, приходя с рассветом к перевалу.

С тоской, без надежды оглядывал он мир, в котором жил. Осеннее небо все чаще заволакивала грязно-серая мгла. Далекое седые вершины покрывала чалма облаков. Угрюмые тени ложились на каменный лик гор, и даже в полдень хребты и пики хмурились, сунули мохнатую бровь, как будто и они были чем-то недовольны. Кругом могильная тишина. В свете зари, прорывавшемся из-под синих туч, дорога против осин густо багровела, словно набухая, и казалась окровавленной. Красные пятна мерцали на окрестных скалах.

- Пусть будет так, коли так... - шептал Бахтыгул и закусывал ус.

Иногда в ясные дни он поднимался повыше над перевалом, чтобы вздохнуть пошире, освободиться от гнетущего груза на сердце.

Далеко на юге, в солнечной стороне, виднелась хвойная щетина леса Сарымсакты. Отсюда она походила на круп могучего коня караковой масти. В этом лесу, пахучем, как дикий чеснок, Бахтыгул прятался с краденной кобылой из табуна своих прежних хозяев, и его мучило тогда от смолистого духа, так он был голоден... А было это лишь год назад! Последний год жизни, казавшийся ему поначалу тягостно легким, непривычно сытным...

В другой стороне, прикрывая собой перевал от дыхания студеных ветров, возвышался хребет Назар. Его синеватопегий горб вздулся, как вена на руке батрака, почерневшей от пота. На хребте также тянулись ввысь, ствол к стволу, вековые изжелта-красные сосны, чернозеленые ели. Местами они были повалены кронами к вершине, и их изломанные, ободранные каменными дождями ветви и необъятные бурые комли с могучими узлами вывороченных корней напоминали

потемневший от времени скелет древнего батыра. Лежит он и тлеет, и под ним ничего не растет.

А выше, над хребтом и над облаками, вечно сияла нетронутыми девственными снегами и льдами вершина Ожар. Старая седая голова, и названа Ожар -то есть Дерзкая. Она и по ночам ясно белела в небе, и подчас казалось Бахтыгулу, что она манит, влечет его своим величавым и неукротимым видом туда, на дикую грозную высоту, где нет жалости, где все холодно-жестоко.

Да, она говорила с Бахтыгулом, эта заоблачная ледяная голова, как будто задумала с ним одно, как будто поняла, что на сердце у одинокого загнанного человека, который отчаялся жить на любимой, родной ему отчей земле.

Выдался теплый безветренный день. Бахтыгул стоял над перевалом, безмолвно говоря с белоглавым Ожаром, как вдруг что-то заставило его обернуться. Он осторожно присел под скалой, беспокойно осматриваясь. И увидел вдали, на дороге, под мрачноватыми стенами Среднего Караша, плотную черную кучку -всадники.

Они ехали со стороны горы Асы, постепенно вползая в непроглядную тень лощины, словно утопая в ней.

Бахтыгул негромко вскрикнул и, пригнувшись, кинулся по шуршащей осыпи к трем старым осинам.

Подкрался, лег за сизыми стволами, задыхаясь, весь облитый холодным потом. И тотчас оглянулся на Ожар. Белая, ослепительная Дерзкая голова смотрела прямо ему в лицо, словно бы торжествуя, тысячью искрящихся озорством и задором глаз.

Бахтыгул приложил руку к сердцу - оно рвалось из груди, в ушах отдавался колокольный гул. Прищурясь, он взглянул на леса Назара, и померещилось ему, что колючие ели тронулись с места и цепями, волнами побежали вверх по горбатому хребту, подобно несметной рати, идущей на штурм, на последний приступ... Но в следующую минуту ему почудилось иное: там, наверху, не воины... Ели и сосны, почеловечьи вытянув и заломив руки ветвей, в испуге опрометью бегут от него, от того, что он хочет сделать.

Бахтыгул провел рукой по воспаленным глазам, лег грудью на землю, чтобы успокоить сердце, уткнул в нее мокрое от пота, искаженное мукой лицо. Земля молчала, а по ней стелился отдаленный глухой топот копыт.

Бахтыгул тяжело, точно больной, поднял голову. Почти из-под самых стволов осин уходили круто вниз глубокие промоины от горных паводковых вод. Они походили на морщины, и по ним стекали серые грязные извилистые полосы, точно следы от слез.

Нет, на этой дороге им не разойтись! Бахтыгул до боли стиснул зубы.

- Пусть будет то, что должно быть, - медленно, словно заклинание, выговорил он и выдвинул вперед из-под своего правого локтя длинный ствол ружья.

В голубоватом мареве, словно за прозрачной шелковой занавеской, показались на тонкой дуге дороги конные - человек пятнадцать.

Это не пастухи и не гонцы, люди солидные. Большинство на иноходцах, масти коней только светлые, на подбор. Седла и сбруя дорогие и издавека тускло

поблескивают серебром. Едут господа неторопливо, праздну. В центре - самые полнотелые, впереди и позади - те, кто потощей. Выделяются женщины, разряженные, как в большой праздник. На фоне черных скал режут глаз радужно-цветастые шали с пышными кистями и подола белоснежных шелковых платьев. Все веселы, беспечны, возбуждены. Через лощину уже доносятся оживленные голоса, залиvistый смех. Там, где дорога шире, едут по двое, по трое в ряд; там, где уже, вытягиваются гуськом. Окликают друг друга, оборачиваются, беседуя, и громко хохочут, откидываясь в седлах. Знатная, богатая, веселая компания!

Бахтыгул, щурясь, закусив губу, искал среди всадников одного... И тихо застонал, разглядев его и узнав! Вот он гладкий, важный и добродушный, с высоким светлым челом, на знакомом золотисто-рыжем жеребце с белой гривой и белесоватым хвостом, с беленькими бабками. Такая масть зовется игреневой. Конь в масле - жирно блестит, отлив у шерсти огненный, чисто золотой. На этом коне Бахтыгул водил

джигитов на барымту... Ох, какой скакун! Ох, какой всадник! Женщины едут вплотную за ним и то и дело подъезжают поближе, шутят, смешат его и сами игриво смеются. Видно, им очень весело.

Внезапный озноб объял Бахтыгула незримыми ледяными лапами. Мушку дергало. Невозможно было прицелиться.

Тогда Бахтыгул опять посмотрел на Ожар... и озноб как рукой сняло. Белая голова скинула с себя чалму облаков и гордо, величаво сияла от маковки до плеч. Бахтыгул увидел в этом повеленье. Наверно, там, в вышине, сейчас бешено свистит шальной, разбойничий ветер, сбивающий с ног, подобно потоку Талгар. И Бахтыгул зарычал, словно подпевая ему, сжав тяжелое старое ружье. Веселая праздничная кавалькада растянулась по тропе над обрывом, под черно-каменной стеной. Близ перевала, на самом ребре, свисая в обрыв, росло несколько кустов смородины. Спелые, сочные ягоды на них были черны, как скалы Караш-Караша. Подъезжая к кустам, всадники один за другим склонялись с седел и ощипывали черные ягоды. Лишь тот, на

золотистом жеребце, не протянул руки. Но когда он важно проплыл над кустами, Бахтыгул уже твердо держал и вел его на мушке.

Он ждал, когда красивый бай повернется к нему лицом.

Кони, гулко цокая, стучали подкованными копытами по камню. Они подходили все ближе. И вот дорога округло повернула к трем осинам. Перед глазами Бахтыгула мелькнули, гарцуя, ноги светло-серого коня, а за ним открылся и игрневый. Скакун шел спокойно, высоко держа золотую голову и с непередаваемо легкой, плавной грацией вскидывая передние ноги. За спиной бая Бахтыгул увидел закутанную в шаль маленькую фигурку молодой женщины. Это, конечно, Калыш из рода досаев, токал, вторая жена Жарасбая, сосватанная еще в лихорадке выборов. Счастливый муж вез ее в свой аул.

«Стой!.. погоди...» - сказал себе Бахтыгул. Сейчас не мудрено угодить одной пулей в двоих. Пусть всадник выдвинется вперед.

Красивый бай самодовольно оглаживал холеную бороду, глядя поверх ушей коня, когда Бахтыгул наконец мягко, нежно спустил курок, и в лисьей шубе из синего сукна, в том месте, куда он целился, появилась рваная дырка, и над ней взвилась прозрачная струйка голубоватого дыма. Конь поднялся на дыбы, а ездок повалился навзничь и вылетел из отделанного серебром седла, широко раскрылив полы шубы.

Бахтыгул невольно вскочил на ноги, глядя, как он валится с седла. Смотрели и спутники бая, онемевшие, с трудом удерживая напуганных коней.

Затем Бахтыгул кинулся вниз по головоломному спуску позади осин, прыгая по красным бородавкам скал, подобно козе, и уже в спину себе услышал пронзительный вопль Калыш:

- Ой-бой!.. Бах-ты-гул!

Он вздрогнул, ссутулился и побежал к лесу не оглядываясь.

К вечеру Бахтыгул был далеко от Караш-Караша, но сердце его по-прежнему билось со звоном, как там, у трех осин. Лихорадочное возбуждение не проходило. И

хотя было не холодно, его снова и снова начинало сильно знобить.

В синих сумерках ему повстречался незнакомый охотник с тушей архара поперек седла. Бахтыгул окликнул его, остановил, осмотрел его добычу и сказал с недоброй кривой улыбкой:

- Нынче я тоже подстрелил одного архара...

Бахтыгул в тюрьме.

Он жив, дышит, ходит, говорит, но непонятно, как он выжил, как удержалась душа в теле.

После выстрела на Караш-Караше родичи Жарасбая подняли на ноги весь род таныс. Городское начальство прислало им на подмогу жандармского офицера. А Бахтыгул не захотел бежать из родных мест никуда, даже в другой уезд не ушел. И его схватили.

Прах и пыль оставил всемогущий род таныс на том месте, где селился маленький бедняцкий род сары. Всего-то и было домов двадцать... Танысцы разграбили, растащили все жалкое имущество сары, не побрезговали рваньем, грязными закопченными кошмами, обобрали людишек

до нитки, разорили дотла и выгнали их с детьми и старцами с обжитых мест, из Бургена и Челкара, на все четыре стороны. Пустили по миру и Хатшу с малышами.

Бахтыгул ждал нового суда, городского, приговора русских биев.

Хатша работала служанкой в доме состоятельного бия в городе. И жила с детьми, конечно, впроголодь: делила свой харч на четверых...

Выбрав время, Бахтыгул бросился в ноги старшему тюремному начальнику. И через несколько дней открылась дверь - под темный пещерный свод камеры вошел Сеит!

Мальчик остался в тюрьме.

Смирный, задумчивый, молчаливый, он понравился всем заключенным, и казахам и русским, многие подкармливали его, отдавая часть своего хлеба. И когда Бахтыгул видел это, у него щемило сердце.

Сосед Бахтыгула по тюремным нарам, Афанасий Федотыч, добыл книгу, купил на свои деньги карандаш и пестрой клетчатой бумаги и стал учить Сеита читать и писать, как мулла Жунус. Бахтыгул смотрел на это с благоговением.

Сеит плохо спал, громко, сердито разговаривал во сне и просыпался в слезах. Вскакивал среди ночи, нечленораздельно кричал и дремотно-дико смотрел на лунный свет из зарешеченного окошка, словно соображая, откуда окно в юрте. И днем иной раз сидит, молчит, жует тюремный хлеб, и по щекам ползут желтоватые ячменные зерна слез.

Мальчику довелось увидеть, как около их зимовья схватили танысцы его отца, неуловимого барымтача.

Сеит бился в руках матери, она держала его изо всех сил и в голос вопила:

- О, несчастный, смотри, убивают твоего отца, о несчастный!

И теперь, в тюремной каменной яме, мальчик видел все то же: дубины, плети, кулаки, сапоги... Он смотрел, и видел, и бился в руках матери...

Бахтыгул не ласкал сына, не утешал его, лишь изредка будил, когда он начинал скулить во сне слишком громко. Но однажды, рано утром, когда другие спали, а Сеит поднялся и бродил около нар, отец мягко окликнул его:

- Сеитжан... подойди ко мне, сынок... - Он прижал мальчика к себе и уткнулся носом в его еще влажную от слез щеку, словно нюхая ее. - Я долго думал, много думал, и что мог придумать, то и скажу. Милый ты мой, прошу тебя, как старшего сына, не поднимай головы от той пестрой бумаги. Если кто тебя выведет в люди, так только она! Видишь, что со мной случилось, все оттого, что я неученый.

- Ты не виноват... - горячо зашептал Сеит. - Они сами... сами... тебя!.. Я все знаю.

- Не все, родимый, не все. А будешь учиться, баям и биям носы утрешь, и не посмеют они с тобой, как со мной... Глаза у тебя откроются, и ты их другим откроешь. Мне это не по плечу, а ты сумеешь, должен суметь! Всю свою силенку приложи к пестрой бумаге... А больше мне нечего тебе сказать. Нет у меня ни ума, ни учености, чтобы тебе передать.

Слеза сползла по серой щеке Бахтыгула. Он смахнул ее, оттолкнул от себя Сеита.

- Теперь иди к своим бумагам.

После этого разговора Сеит перестал плакать и кричать во сне.

Афанасий Федотыч к тому же был веселым человеком, никогда не унывал. Каждый день он за руку выводил Сеита в тюремный двор, покрытый жухлой травой, на прогулку и бегал с ним наперегонки.

С ним вместе Сеит кипятил воду для отца и других старших. Отец любил чай.

Как-то русский спросил мальчика, подмигивая голубым глазом:

- Что задумался, Сеитка? Весна на дворе... Небось соскучился по аулу? Хочется на волю? А? Чего молчишь?

Мальчик вяло покачал головой.

- Нет, Афанасий-ага... не хочется...

- Будет врать! Не может этого быть.

- Тут лучше, Афанасий-ага... Лучше тут...

Бахтыгул лежал лицом к стене, кусая сивый ус, сжав рукою горло.

«Маленький ты мой... Зрачок мой зоркий...» - думал он о сыне.

Афанасий Федотыч поднял мальчика на руки, прижал к своей груди, и тот не стал вырываться.

- Слышите, что он говорит, братцы? Ах, Сеитка, Сеитка!.. Убил ты меня, ей-богу... И ведь что страшно? А то, что не из книжки он

вычитал эти слова! - И Афанасий стал ходить по камере взад-вперед с Сеиткой натруди.

Вот так они и жили, день за днем, ночь за ночью.

Тихий, усидчивый и понятливый чернявый мальчик исписал не один лист пестрой бумаги. Афанасий-ага учил его писать, улыбаться и видеть то, что не видел его отец, - свет будущей жизни.

А Бахтыгул ждал. Ждал суда и каторги...